

Евгений Головин

ЯНИНАМОРМ



Евгений Всеволодович Головин

Мифомания

Человек и сакрум

Великий Пан

Кто-то падает с верхушки клена, шумно прорезая красную листву, потом размашисто и широко отряхивается, малиновым ручьем пропадает среди корявых корней: в воде мелькают золотые нити, туда-сюда снуют зеленые иглы — бог Пан просыпается после полуденного сна. Ему необязательно спать на древесной вершине, он любит отдыхать в прохладных гротах, но часто его одолевают повелительные прихоти. Рыжебородый, весь покрытый шерстистой рыжизной, с рельефной складкой на лбу к переносью, он любит венчать малозаметные рожки большой еловой веткой. Такова зверино-человеческая ипостась Пана — бога дикой природы и одиночества. Жестокость или милосердие равно чужды ему, хотя он вполне способен к этим страстям. Он любит пустоши, дикие дебри, покинутые речные или морские берега, может днями и ночами блуждать по таким местам, ненавидит города, возделанные поля, словом, следы человеческой деятельности. «Панический страх» возбуждается независимо от него — просто он не любит, когда тревожат его послеполуденный сон или охоту. Пан знаменит сексуальной страстью к нимфам, хотя успех или неудача не нарушают его божественного спокойствия.

Это прекрасно передал Стефан Малларме в исключительно красивой поэме «Послеполуденный отдых фавна». Потревоженный укусом или царапиной, Пан смутно вспоминает двух нимф, которые играли поблизости, а затем пропали в реке. Он вспоминает неточно — ему вообще чужда точность, — но силуэты нимф не покидают воображения. Он берет флейту, пытаясь рассеять воспоминание в музыкальных вариациях. Тут ему приходит в голову, что богиня Венера любит в это время гулять по склонам Этны, оставляя на пылающей лаве следы своих божественных пяток. Вот бы настигнуть богиню! Флейта выскальзывает из пальцев, веки смыкаются, слышно бормотанье о поиске нимф во сне...

Наравне с нимфами Пан любит музыку. Перед ним преклоняются пастухи и рыбаки — в благодарность он обучил их игре на разных дудках и свистульках, чтобы собирать стада и приманивать рыбу. Его собственная флейта «сиринга» появилась весьма любопытно: он преследовал нимфу Сиринкс, которая, испуганная его диким и неказистым видом, превратилась в тростник — впоследствии искусные руки бога смастерили флейту из этого тростника. С этим связана высшая ипостась Пана — согласно поэту Феокриту. Будучи одним из богов-творцов, он, по ладам своей флейты-сиринги, установил гармонию сфер и придал звездам совершенное движение. Он поделил мир на неживой и живой и одарил последний

восприятием, то есть благодаря Пану мы видим, слышим, осязаем. В его власти ослепить и оглушить нас, лишити разума и заставить сколь угодно долго блуждать в лабиринтах и чащобах собственных иллюзий. По орфической теологии он — Фанес — создатель фантазии

(«фанетии»), участник хаотической игры миров и пастух звездных хороводов. Посему он редко посещает Олимп, где боги любят весело потешаться над его гениталиями и неиссякаемой фаллической силой. Но он всегда на стороне богов. Например, участвовал в титаномахии, распугивая титанов ревом огромной морской раковины. Но иногда он бросает раковину, забывает про весла и парус, мечтает и засыпает. Море сразу затихает, Пан спит, не заботясь, куда пристанет его суденышко.

Когда исчезла Деметра в тщетных поисках своей утраченной дочери Прозерпины, Зевс повелел во что бы то ни стало отыскать ее — в противном случае грозило бы несчастье из-за путаницы распорядка сезонов. Нашел ее никто иной как Пан, отлично знающий ее заповедные места.

У него все основания превосходно знать ее — богиню пограничья, хотя он и не может любить ее. Пан — бог дикого плодородия, Деметра — богиня обработанных земель, способствует «культурному освоению пространства»: ведь мало одарить людей оливками или виноградом, надо научить их осваивать. Мало наловить зверей, надо их приручить. Но Пан знает: возделанная земля довольно скоро придет в упадок, и нет ничего легче, как разогнать с трудом собранное стадо или навести ужас на землепашцев. Пан не очень-то умен даже с человеческой точки зрения, такие понятия как «труд», «свобода», «необходимость» ему абсолютно чужды. В поэме Стефана Малларме он высасывает сок из виноградин, надувает пустые ягоды и часами смотрит сквозь них на солнце. Вообще он никого не осуждает и не презирает, хотя и не понимает, зачем работать пропитания ради — ведь в лесах и реках так легко раздобыть плодов, дичины и рыбы. Поэтому не любят работники явления Пана — игрой на свирели он заставляет петь, плясать и кривляться весь «рабочий день». Пан равнодушен к людям. В отличие от Аполлона и Диониса, он — прорицатель и врачеватель — редко пользуется этими дарами. Бога, более чуждого людям, вообще трудно найти. Равным образом, его не волнует стремление к порядку Аполлона и неистовые страсти Диониса. Когда Аполлон после музыкального состязания содрал кожу с Марсия, Пан, как ни в чем не бывало, продолжал преследовать нимфу. Когда прилежные дочери Миния неустанно трудились на ткацких станках и ухаживали за детьми, пренебрегая празднеством Диониса, станки вдруг обвили виноградными лозами, с потолка и стен стали сочиться молоко и мед. Объятые безумием женщины поубивали собственных детей и съели одного из них. Проходящий мимо Пан не обратил на эту сцену ни малейшего внимания. Когда царь Пентей из любопытства подглядывал оргию менад, обезумевшие вакханки, среди которых была его мать, растерзали его в клочья: мать отрезала ему голову, приняв сына за молодого льва, и повелела прибить к стене дворца. Неподалеку Пан продолжал играть на свирели.

Это нисколько не говорит о его жестокости или любви к кровавым зрелищам. Он охотно вылечит дерево, ягненка или косяку, предотвратит падение скалы или лесной пожар.

У Пана нет воспоминаний, нет ни малейшего представления о памяти. Здесь он похож на музу Мнемозину. Когда она жила среди титанов вечно повторяющейся жизнью, напоминающей постоянный круговорот Океаноса, ей были присущи

запоминания. Став женой Зевса, она обрела

мусическую память, где повторяемость события не играет роли, где важна только неожиданность события. Пан родился уродливым и сильным, без всякого сыновнего чувства. Мать испугалась его внешности, он накинулся на нее как на женщину. Фаллическому богу не нужны родственные связи, он живет энергией преследования и минутой обладания, причем в случае неудачи забывает и о том и о другом. Фаллическое начало не беспокоит его, поскольку он и есть это начало. Притом ему чуждо чувство собственности. При первых звуках музыки — пусть это будет даже плеск воды или треск упавшего дерева — он погружается в глубокую мечтательность, забывая об охоте или преследовании нимф. Последние побаиваются его уродства и необузданных страстей, однако он неотступно притягивает их

своей свирелью и любовью к пляскам и хороводам — изобретательным и веселым. Пан известен своей незлобностью и добродушием, Знаменит только один пример его мстительности. Римские воины (это было во времена императора Диоклетиана) поймали фавна и привезли в клетке в Рим. Вскоре фавн умер от тоски. Напрасно Диоклетиан умолял бога и приносил жертвы — Рим подвергся пожарам и разрушениям. Пан не только не любил людей, но и был предан своему племени, особенно нимфам и фавнам.

Пан признавал

зоо , а не

био (культивированная жизнь). И если довольно равнодушно относился к земледелию и строительству городов, то не обращал внимания на уничтожение пустошей и вырубку леса, считая сие прихотью презренных людей. Сам он жил в Аркадии и, не имея, разумеется, никакого представления о географии, представлял бесконечной эту маленькую область. Дикие растения и плоды, охота и нимфы занимали все его время, в процессе своих вояжей он, сам того не зная, совершал маленькие или большие круги, потому-то Аркадия и казалась ему бескрайней. Границей своих владений он считал возделанные земли, но без постоянной обработки они довольно быстро приходили в упадок, завоеванные дикой природой. Буйные непроходимые заросли, луга, заросшие пестрыми цветами, топи, покрытые осокой и кувшинками, всё непроходимое, необъятное, неумное, недоступное никакой обработке, чащобы, провальные овраги, мрачные лесные пещеры, всё это, дышащее неукротимой, первобытной мощью, Пан считал своим владением. Поэтому, когда по греческим берегам пронесся вопль: «Умер великий Пан», жители сокрушались о конце древнего мира.

Радовались только христиане. Для них козлоногий и рогатый бог, сладострастный ненавистник семьи и домашнего очага, презирающий любую работу, стал воплощением дьявола. Присные его — фавны и нимфы — бесовщиной низшего разряда, указующие человеку путь к гибели.

Алхимия и ее эманации

Вполне в стиле традиционализма двадцатого века Титус Буркхарт склонен считать алхимию одной из эманаций Духа, ее адептов — миссионерами, что передают знание через поколения ученикам и неофитам. Стало быть закат алхимии (магии, астрологии, спагирии) объясняется двояко: либо творческая энергия Единого (Абсолюта, Бога) истощилась, либо цивилизация отпала от Света и погрузилась в хаос и ночь Иного.

Концепция *tradition primordial* (первичной традиции) страдает ригоризмом, схематизмом и нетерпимостью, свойственной монотеистам: кто не с нами, тот против нас. Никакой самостоятельности, никакой индивидуальной интерпретации. Рене Генон и его единомышленники расценивают мастеров прошлого как хороших или плохих «отражателей» нездешнего Света. Отсюда похвалы Данте, святому Бернарду, Мухиддину ибн Араби и довольно кислое отношение к Лейбницу, Гегелю, Бергсону. В монотеизме вообще, в алхимии в частности крайне важна роль молитвы, божественного соучастия и наития. Гораздо менее важны личные таланты оператора. Кроме терпения и сосредоточенности, хорошо культивировать презрение к почестям и богатству, любовь и милосердие, что акцентировано в истории Николая Фламелья.

Будучи ориенталистом, Титус Буркхарт направил свой текст в сторону исламского эзотеризма и арабской алхимии. Посему нет смысла дополнительно разъяснять очень ясные пассажи автора. На наш взгляд, гораздо желательней дать представление о других направлениях

«*gaya scyenza*», веселой науки, иначе называемой «королевским искусством».

После вторжения в 12–14 веках латинских переводов из Ябира ибн Хайана, Аль Рази и других арабов, европейская «герметика» заменилась словом «алхимия», надолго смешалась с химией и фармацевтикой, усвоила методы лабораторной работы, увлеклась техникой «выделки» драгоценных камней и металлов, дистилляцией эликсиров долголетия и бессмертия. От герметики в собственном смысле, то есть от проблемы гермафродита, освобождения мужского начала от страшного женского плена (Одиссей у Калипсо и Цирцеи), subtilis телесности души, завоевания золотого руна и яблок Гесперид остались смутные воспоминания и мифологический материал для неудачных или более или менее удачных сравнений и метафор.

Для язычников эйдос и материя, форма и субстанция не были абстрагированы друг от друга. Язычество признавало лишь одну двойственность, несводимую к единству — женское и мужское. Платон для обоснования андрогина привлек трансцендентальное Единство, ибо иначе нельзя ввести понятия симметрии и равенства полов. Поэтому необходимо различать платонова андрогина и языческого гермафродита. В стихии земли, в сфере подлунного мира женщина безусловно доминирует. Женщина — основа, фон, *natura naturata*, фанетия, *materia prima*, что рождает и пестует своих сыновей, натравливает их друг на друга, затем рождает иных. Судьба мужчины предопределена, пенис постоянно возбужден великой матерью, возраст значения не имеет. Номинальные дед, отец, сын в борьбе за ее благосклонность норовят кастрировать и уничтожить друг друга.

Однако отрезанные гениталии только интенсифицируют любовную страсть. Великие земные матери хотят от мужчин полной покорности. Для этого существуют мистерии ритуальной кастрации — культы Деметры, Кибелы, Милитты, где мужчин превращают в женщин. И поскольку сильные самцы необходимы для жизненной динамики, избранных мужчин посвящают Приапу. Это мужская ипостась женщины или фаллос великой матери. Такие мужчины не бегают за женщинами, но ждут, когда женщины придут сами.

Согласно языческой герметике, автономия мужчины связана с выходом из стихии земли в сферу акватическую — Океанос.

Знаменитый античник девятнадцатого века И. Я. Бахофен считает главным

событием греческой космогонии — восстание огня, воздуха, воды против диктатуры матери земли. В результате Уран или насыщенный светом воздух противопоставился земле и ночи в виде ясного дня. Перипетии мифа кровавы и трагичны, ибо гигантомахия началась с самого начала. Кронос, послушный сын Геи, отрезал у отца фаллос. Это первый эпизод извечной борьбы носителя пениса — сына и раба матери — с фаллическим

оппозиционером. От фаллоса Урана, поглощенного Океаносом, родилась новая великая мать — Афродита Ураниос.

Здесь необходимо кое-что пояснить. Титус Буркхарт традиционно излагает пассажи из книги Аристотеля «Физика» относительно первичных стихий (земля, вода, воздух, огонь) и качеств (сухое, холодное, влажное, горячее). Следует добавить: в каждой стихии явно или латентно содержатся три остальных, ибо «изолированная» земля или вода возможна лишь теоретически. Четыре стихии образуют четыре более или менее автономных вселенных с доминацией соответственно: земли, воды, воздуха, огня. Наш, земной мир тяготеет к стабильности, инерции, неподвижности нашей доминанты — стихии земли.

В акватической вселенной земля легче, воздух и огонь интенсивней и ближе. В таком климате аналитическое познание не имеет смысла — имена, дистинкции, детерминации вещей

совершенно нестабильны, ибо в силу категории «расплывчатости» границы субъекта и объекта очень неопределенны, что весьма напоминает пространства Льюиса Кэррола. Если здесь и бросают якорь, судьба этого якоря неведома. Здесь нельзя доверять константам физическим и психическим, нельзя четко различать явь и сон; здесь мираж расплывается иллюзией, а фантом — галлюцинацией. Точнее, подобные слова, призванные разделять воображаемое и сомнамбулическое от осязаемой реальности, теряют конкретное значение, распадаясь в смутных ассоциациях. (Джон Рескин до известной степени имел основания утверждать, что греки придумали свою мифологию, созерцая грандиозные панорамы и битвы облаков. «Афина в небе»(1875 г.). Здесь мужское начало не столь фатально подчинено женскому, здесь неподвижность и ледяная смерть не грозят неизбежной гибелью, здесь возможно оставить свою

оболочку и в субтильном теле души выплыть на поверхность

воздуха — так стрекоза оставляет свою

кризалиду и расправляет крылья.

Языческая герметика акцентирует роль

оператора, что соответствует религиозным принципам. В язычестве нет института молитв, богов и людей связывают магико-эротические отношения. Никаких коленопреклонений, почитаний и просьб. Люди просто на просто счастливы, что боги есть. Главная ценность язычников — свобода со всеми ее тяготами и восторгами. Божественная помощь приходит неожиданно и рассчитывать на нее никак нельзя. Отсюда культ личности героя в герметике, отсюда героические усилия индивидов в поиске красоты и гармонии. По мнению Посидония (второй-первый век до н. э.) любая работа зависит, прежде всего, от гармонического контакта меж деятелем и объектом действия.

Человек раздвоен природно. Французский философ Шарль де Бовиль писал в книге «О мудрецах»: «После грехопадения человек не может вернуться к нерушимой первичной простоте. Он должен через противоположность, что раскинулась над ним, найти истинное единство своей сущности, то единство, которое не исключает различия, но ставит его и поощряет. В простом бытии нет силы, оно плодотворно, когда раздваивается в самом себе и таким образом восстанавливается в своем единстве».(Carolus Bovillus. De sapiente. 1509 г.)

Единство вне собственного фона, вне множественности — понятие трансцендентальное, «метафизическая точка» Лейбница. В природе это нонсенс: Антей вне матери земли, белая ворона, монарх без монархии, оратор без аудитории, словом, нечто оригинальное, нелепое, смешное, трагическое. Но это далеко не самое страшное. Единство в жизни вообще, в жизни человеческой в частности ведет к тирании, диктатуре и соответственно к рабству.

В своей ученой поэме «О природе вещей» римский поэт Лукреций проявил так называемый материализм, за что его весьма ценят. Богов он при этом не отрицает, хотя полагает существами отрешенными, которые сами себя создают из комбинаций легких атомов и легких пустот и уж понятно никак не вмешиваются в дела человеческие. Лукреций интересен совершенным отрицанием платонического «единого». Относительный порядок в четырех космических стихиях поддерживает первичная двойственность Венеры и Эроса: мать и сын, мать и отец, любовники, сестра и брат, словом, обожествленное могущество двойственности. Любая ссора между ними ведет к локальным или масштабным катаклизмам.

Здесь сокрыто обоснование магического воззрения, ибо тщетность однозначных объяснений открывает двойную жизнь вне платонического диктата обязательного единства. Здесь не существует проблемы выбора, жестокого «либо — либо». Необходимо подчеркнуть:

язычество не знает смерти в иудео-христианском смысле, цели греческой герметики и монотеистической алхимии не совпадают.

Даже для современной, сугубо материальной физики процесс наблюдения влияет на объект наблюдения. Что же сказать о пространствах, где наблюдение не просто влияет, но изменяет пейзаж и трудно сообразить, что с нами-то делается. К примеру, одиннадцать братьев, обращенных колдуньей в лебедей, несут сестрицу Элизу на крыльях. Впереди — замок феи Фата-морганы: «Под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы величиной с мельничные колеса... И вот горы, леса и замок рухнули, и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей. Элиза взгляделась пристальней и увидела, что это просто морской туман, поднимавшийся над водой». (Х. К. Андерсен. Дикие лебеди)

Когда мы слышим «мираж», «фата-моргана», наша реакция на эту новую «реальность» стандартна. Сказки, легенды, выдумки. Имя Андерсена гарантирует грустное или веселое мечтательное

вовлечение, ибо мы двойственны и в нас живет мальчик или девочка. Если аналогичное поведает какой-нибудь средневековый автор, тоже неплохо: мы знаем от историков, что, начиная с Геродота и Страбона и до «века Просвещения», достоверность не считалась особой добродетелью. Почитаем рассказ о церквях и кораблях из «Императорских досугов» Гервасия Тильберийского (13 в.): «Уже в наши времена на глазах у множества народа случилось чудо, подтверждающее существование моря наверху. Когда в Великой Британии люди в праздничный день, отстояв торжественную мессу, стали покидать переполненную церковь, вдруг из-за плывущих низко облаков всё погрузилось в полумрак и сверху показался корабельный якорь, зацепившийся за окруженное оградой каменное надгробие, так что якорный канат повис и болтался в воздухе. Люди пришли в изумление и стали обсуждать это на все лады, как вдруг увидели, что веревка натянулась, будто кто-то пытается вытянуть якорь. Несмотря на многочисленные рывки, она не поддавалась, и тогда в густом и тяжелом от влаги воздухе раздались голоса матросов, которые пытались вытянуть якорь. Прошло немного времени, и стало понятно, что они отчаялись и послали одного из своих, который, как того и следовало ожидать, зацепился ногами за якорный канат и, перебирая руками, спустился вниз. Когда он уже почти высвободил якорь, стоящие вокруг ухватились за него и принялись его трогать. Но подобно тому как это случается в море во время кораблекрушения, матрос стал захлебываться от слишком влажного и тяжелого воздуха и испустил дух. Прошел целый час, матросы наверху, решив, что их сотоварищ утонул, перерубили канат и, бросив якорь, отправились в плавание. В память об этом происшествии по мудрому совету из якоря сделали железные части церковных дверей, представленные всеобщему обозрению». (Цит. по книге «Плавание святого Брендана», 2002 г. Перевод Н. Горелова)

Любопытен весьма редкий религиозно-магический резонанс. Церковь часто сравнивается с кораблем, плывущим в царствие небесное по «верхним водам», упомянутым в библии. Якорь, что использован для отделки церковных дверей, соединяет «это» и «другое» пространство. Но не только. Магические объекты суть катализаторы перемен и трансформаций. На эту тему хорошо сказал Р. М. Рильке в стихотворении «Архаический торс Аполлона» (примечание: в стихотворении речь идет о древней статуе, где голова не сохранилась): «... на этом торсе любая точка

видит тебя. Ты должен изменить твою жизнь.» Если убрать обожаемое немцами повелительное наклонение (*stirb ud werde* — умри и стань — Гете; *du sollst* — ты должен — Рильке) останется нормальная магическая перспектива. Не только произведение искусства, но и любой объект способен активизировать восприятие и устранить цензуру здравого смысла. Всякие редкости, драгоценный камни и кристаллы, дорогие зеркала и металлы

гораздо менее эффективны в магии, нежели простые минералы и сорная трава. Упомянутая сказка «Дикие лебеди» тому пример. Фея Фата-моргана советует Элизе сплести из крапивы длинные рубашки ради расколдования ее одиннадцати братьев, обращенных в лебедей. Крапива отвечает принципу языческого бытия — ее много, она неприхотлива, растет в изобилии, что говорит о силе и могуществе. Молодая крапива вкусна и полезна; у старой крапивы длинные волокна словно у льна, крапивное полотно прочно и красиво; смесь поваренной соли и крапивного корня дает превосходную желтую краску; свежая крапива под подушкой отгоняет ночные кошмары; крапивный огонь устраняет самое злое колдовство.

Любая магия предполагает живое среди живого, подвижное в подвижном. Ничего мертвого и механического, никакого деления на «органическое» и «неорганическое». Следует отметить чрезвычайную роль эпидермы — в коже скрыты все органы чувств, которые могут развиваться хорошо или плохо — отсюда специальные мази и фильтры, способные изменять либо восстанавливать слух, зрение и т. д. Но это земная магия. Она утоляет желания, помогает в любви и честолюбивых помыслах, обессиливает врагов, лечит болезни. Игнорируя причинно-следственные связи, классификацию живых существ на виды, подвиды и отряды, она видит, слышит и угадывает ассоциации, резонансы, реминисценции, эманации, соответствия. Продолжим свой крапивный эпос. Жжение крапивы очень напоминает руке жжение горячей яблоневого ветки, именно яблоневого, а не березовой либо сосновой. Лизнув заледенелую бронзовую монету, мы почувствуем... крапивное пламя. Значит яблоня, крапива, бронза имеют нечто общее. Запомним это «нечто», откроем какую-нибудь книгу магических рецептов, скажем, «Петушиную курицу Гермодена» (15 в.), и прочтем: «Натри свежей крапивой бронзовую монету, положи последнюю в кислое зеленое яблоко, поддержи на горячих углях. Монета сия защитит от огня и любого оружия».

Весьма познавателен другой сборник под названием «Конституция папы Гонория Великого» (скорее всего, апокриф 16 века). Здесь перечислены семьдесят два имени Бога, здесь начертаны магические

характеры, описаны творятся с непременным упоминанием Иисуса Христа, святой Троицы и апостолов, хотя рекомендации зачастую направлены в сторону красной и черной магии. Такой пример: «Найди череп человека, вложи в отверстия старые черные бобы, положи череп в укромное место огорода ликом в небо, поливай три раза в день в течении девяти дней отменной водкой...». Длинный и сложный рецепт помогает стать невидимым в зеркале. Или: «Отыщи на старом кладбище гроб подревней, вытащи гвозди. Поищи привычную дорожку врага и вбей гвозди в следы его, и прочти такую молитву...». Еще пример: «Если желаешь, чтобы ненавидящие тебя супруги прекратили свои брачные утехи, купи новый нож, начертай острием близ двери спальни слова *consummatum est*, затем вонзи нож в дверь, дабы лезвие сломалось». Исполнение подобных рецептов опасно ответным ударом не столько со стороны враждебных персон, а более от потревоженных стихий. Оператор здесь рискует куда сильнее, нежели в тривиальных человеческих инфайтингах.

Искатель секретов и нестандартных решений завязает в стихии земли, откуда выбраться трудно. Пусть он станет мистагогом, авторитетом, королем, первым в двойственности «я и люди», какой прок? Так или иначе его сволокут с вершины, трона, пьедестала, убьют, сделают клоуном (примечание: после отсекования головы английского короля Карла I в 1649 году, в цирках появился важный персонаж — клоун, пародия на отвергнутого, осмеянного, убиенного короля).

В плане индивидуального развития лучше тысячу раз изобретать велосипед, чем повиноваться диктатуре авторитетов, которые наподобие компрачиков долбят неопита своими идеями, дабы придать ему желанную форму. Надо непременно учесть афоризм Майстера Экхарта: «Дабы раскрыть внутреннюю субстанциальную форму, необходимо

избавиться от всех внешних форм». Должно забывать, а не собирать. Накопляя информацию, отыскивая всё новых учителей, осваивая

специальности, мы рассеиваем сугубо необходимую энергию внимания.

Аристотель ввел понятие о душе как теле энтелехии. Космос нашего земного бытия регулируется эфиром или квинтэссенцией. Камень, растение, зверь, человек имеет свою квинтэссенцию. Тем не менее, в каждой сущности превалирует один элемент, определяющий ее темперамент и стиль поведения. Достаточно эффективная квинтэссенция способна преодолеть однозначность темперамента, аннигилировать тягость меланхолии-земли, инерцию флегмы-воды, летучесть сангвинического воздуха, бешенство холерического огня. Подобная трактовка темпераментов, принятая в античной медицине, учитывает, прежде всего, фундаментальность и весомость земли и зависимость от нее других элементов.

Великое и героическое племя кентавров рождено от любви Иксиона к богине воздуха Гере. Последняя придала облаку свое обнаженное очертание. Миф активно акцентирует роль иллюзии и миража в любовном событии или, согласно нашей тезе, реальностей воды и воздуха.

«Согласно Пифагору, — сообщает неоплатоник Сириан, — кентавры распались на людей и лошадей, nereиды и тритоны — на людей и рыб, киноцефалы — на людей и собак».

Смелым мыслителем был Пифагор. Его последователи полагают: в божественных соитиях с деревьями, озерами, скалами, людьми, львами, драконами проявилась небесная

форма, единая цепь бытия. Отсюда чувство родства с каким-нибудь растением или зверем. Так в романе Кретьена де Труа «Ивен — рыцарь Льва» (12 век) герой в битве или на турнире идентифицируется с данным зверем без особого усилия воображения.

Обитателям аква-теллурической сферы присущи легкость, порыв, беззаботность, им нет надобности в земных опорах и ценностях. Поэтому люди такого типа бескорыстны, доблестны, честны — иначе им не выжить в режиме плавания или полета, где необходима четкая концентрация. Сребролюбие, скупость, трусость, лживость рассеивают «я» в земном социуме.

Людей такого типа следует назвать аристократами, поскольку им присуще стремление к стихиям более высоким

формально — к воде, воздуху, огню. В такой перспективе ундины и эльфы благородней гномов и хтонов.

При наличии вертикали, «верха» и «низа», сословному расслоению подвержены все природные данности — металлы и минералы благородны или вульгарны, равно как растения или звери. Со времени Плиния Старшего думали, что орхидеям, розам и лилиям надобны, в основном, влага и солнце и гораздо менее — земля, в отличии от сорняков. Далее: разве можно сравнить единорогов, львов, леопардов с тварями ползучими да свиньями! Вертикальная иерархия с ее разными уровнями благородства санкционирована неоплатониками, затем монотеистами: самый верх — серафимы, херувимы, троны, потом архангелы, ангелы, потом

качественный разрыв — святые — «земные ангелы, небесные человеки». Последние призваны заполнить разрыв, но, равно как многоугольник при умножении числа сторон никогда не станет окружностью, праведник при всей святости и чудесах никогда не станет ангелом. Небесная иерархия трансцендентна, и ее нельзя просто скопировать в земной

жизни, иначе пойдут революции и прочие недоразумения. Коснемся эпопеи Александра Дюма о трех мушкетерах. В книге «Двадцать лет спустя» Атос, этот идеальный дворянин, вдохновляет своего сына Рауля на беззаветное служение монархии; «Принцип — всё, суверен ничего не значит», И что же? Когда Людовик XIV свершает низкий поступок, Атос отрекается от верности короне. Небесный порядок на земле нелеп. Социум: ловкий и умелый лидер с помощью своей

номенклатуры захватывает власть. Никто не говорит, что это плохо. Это естественно и не нуждается в религиозных оправданиях. Однако от номенклатуры до аристократии в греческом смысле очень далеко. Рыцари придворные либо орденские лишены главного — свободы. Они обязаны присягать на верность королю или церкви, что резко меняет дело. Они могут блистать силой и храбростью, но... в рамках социального устава. Им с детства рекомендуют славную смерть за родину и суверена, что недостойно свободного человека

— он микрокосм, а не сателлит. Жизнь большинства людей зависит от духа времени, общественного уклада, от начальников, семьи, настроений окружающих и т. п. Они постоянно в долгу перед кем-то или чем-то. В результате образуется воображаемое персональное пространство, заполненное предвзятыми идеями, комплексами, мнительностью, страхом потери

правильных тропинок. Мысль о полнейшей абсурдности такой ситуации вспыхивает редко и тут же гаснет. Между тем, в классической книге о дон Кихоте сказано: «... обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собою путы, стесняющие свободу человеческого духа». И чуть выше: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком». Это легко сказать, но невероятно трудно свершить.

Прежде всего.

Прежде всего, необходимо, чтобы на человеческую композицию постоянно влиял «магнит» не от мира сего, иначе говоря, квинтэссенция. Термины: «наша Диана», «субтильное тело души», «белая магнезия», «радикальная влага» означают те или иные качества в женском начале мужчины. Но «прекрасная дама» рыцаря и есть это самое начало, побудительница его инициации и цель поиска, главное, чем отличается рыцарь от других представителей марсиального искусства — воинов, дворян, кондотьеров, самураев. Первичная двойственность Афродита-Эрос акцентирована Эросом для женщин и Афродитой для мужчин. Тайная женщина или прекрасная дама сдерживает и направляет стихийную мужскую экспансию.

Согласно античной мысли, жено-мужская двойственность присутствует «на самом высоком уровне», поскольку мужской «эйдос» от женской «формы» абстрагировать нельзя. По крайней мере в языческих имманентных религиях.

Титус Буркхарт — очевидный монотеист и неоплатоник: вслед за Платином и Аль Рази он любит трансцендентного Бога, Дух, Интеллект, первичность мужского творческого принципа и эманации оного — солнце и золото. «Non rem, cujus ultima substancione non reperiatur aurum», — сказал Альберт Великий (13век), что означает: нет вещи, которая в последней своей субстанции не содержала бы золота. Не слишком форсируя данную мысль, следует процитировать «Платонову теологию» неоплатоника Прокла: «Целое организма есть принцип организации организма. Если этого принципа нет или если он уходит из организма, то

организм разваливается на отдельные, уже не органические части, не имеющие отношения друг к другу».

Следовательно: единое, принцип, Творец, солнце, золото суть quidditas, «то, что» делает целое таковым.

Акцент монотеизма вообще, алхимии в частности: Дух, Творец распространяют иерархически организованные эманации от единого в «иное». Кто отрывается от силы Творца — живой веры — но сохраняет реминисценции — религиозные чувства — желает возврата. Этот «кто» страшится ускоренного падения в «иное», разложения, смерти. Он имеет шанс стать «истинным алхимиком» в отличие от химика, фармацевта или «суффлера».

Монотеистическая алхимия, разумеется, совершенно иерархична. Поэтому Титус Буркхарт акцентирует благородство золота и серебра сравнительно с металлами «вульгарными». Однако у последних тоже есть шанс, Господь милостив: равно как нищий убогий мальчонка стал папой (история Бонифация VIII), солдат может стать маршалом, а медь — серебром. (Эту мысль автор проводит в эссе «Эзотеризм шахматной игры» касательно

трансформации пешки в ферзя).

Любые трансформации происходят под влиянием *forma informantis*. Так Скотт Эриугена, затем Николай Кузанский назвали активное воздействие внешнего мира на объект. Пешка сама по себе не пройдет в ферзи. Необходимо особое стечение игровых обстоятельств и совершенно необходимо «то, что» называется случаем, интуицией, удачей и т. д.

Но изменят ли солдат или пешка свой

внутренний статус? Безусловно нет. Маршал «в душе» останется солдатом, пешка также скорее всего останется таковой. Медь равным образом обретет только внешнюю форму серебра. Подлинная

трансмутация. то есть претворение скрытого золота во внешнее требует героического усилия. Потому Чезаре делла Ривьера, итальянский автор XVI–XVII в., назвал свою книгу об алхимии «Магический мир героев». Надлежит определить два аспекта подобного героизма: с одной стороны Геракл, аргонавты, жрецы Гермеса и Диониса; с другой — последние адепты, которые отстаивали магическое миропонимание перед победным наступлением рационального позитивизма. Парацельс, Агриппа Неттесгейм, Франциск Меркурий Ван Гельмонт более остальных достойны культа личности в герметике.

Что же такое трансформация, если держать в уме слова Парацельса?

Форма, говорит нам Титус Буркхарт, это «качественное содержание», придающее объекту сугубую индивидуальность. Автор вероятно имеет в виду «форму формирующую» (*forma formantis*). Только тогда можно рассуждать о глубокой экзистенциальной трансформации.

(Необходимо отличить форму как философское понятие от обычного употребления слова. У нас, в частности, «форма» или «формальное» или «для проформы» означает: бессодержательное, поверхностное, манерное и т. п. Это ассоциируется с геометрией, силуэтом, абрисом: формы облаков, женские формы и прочее).

В языческой герметике, например у Посидония и Синезия, форма — насыщенная огнем пневма, что движет эйдос в материю. (Здесь надобно отметить определенное сходство античной герметики с положениями санхья индуизма. Без участия Purusha творения Prakriti иллюзорны, равно как творения материи вне влияния сперматических эйдосов). Что сие означает? Что природа не нуждается в эйдетических формах небесного фаллицизма.

Влажная земная тьма полна

мобильных пенисов — это образует жизнь вегетативную и анимальную. Но для создания субтильного тела души или

охемы необходимо эйдетическое оплодотворение материи.

Антропологическая интерпретация подобных воззрений такова: эволюцию к жизни в более высоких, нежели земной, элементах свершает субтильное тело души. Дети, рожденные вне участия эйдетических форм, ориентированы на сугубо земные цели, они лишь инструменты женской централизации.

Пассивная анимальная или рациональная душа подвержена любому формальному насилию и рождает от каждого впечатления желанные или отвратительные образы.

Герметика известна искусством превращения проститутки в деву — последняя считается несравненно драгоценней «девственницы натуральной». У Гете во второй части «Фауста» античный мудрец говорит: «ржавчина впервые делает медную монету ценной». Почему? Влажный воздух, к примеру, способен успешно «атаковать» монету, пробудив «агента деструкции» внутри оной — «черный сульфур» в случае мужского металла, «черную магнезию» в случае женского.

(Герметика объясняет трансмутацию материи подвижностью четырех элементов и четырех натуральных режимов: тепла, холода, влажности, сухости. Они активны относительно материи и обладают конкретной способностью превращать один элемент в другой: посредством тепла воздух абсорбирует воду, холод концентрирует воду в лед, вода твердеет минералом. Тепло и холод играют роль активных энергий, правда, второй режим лишь негация первого: только тепло — «начало циркуляции». По сути, только огонь делает субстанцию в реторте алхимика жидкой, газообразной, кристаллической. Имитация «магистерия» природы.

Субтильная материя души в своей экспансии, контракции, диссолюции, солидификации аналогично связана с теплом, холодом, влажностью, сухостью).

Агенты деструкции, предоставленные себе, делают свое дело медленно и незаметно, при внешней агрессии скорость деструкции резко возрастает. Когда подверженное гибели уничтожается, земная субстанция (проститутка, гнилое дерево, ржавая монета) обретает возможность проявления скрытого средоточия — это означает в герметике окружностью без центра, в греческой мифологии термином «фанетия». Это

возможность проявления скрытой частицы золота, о которой писал Альберт Великий, или огненного эйдоса.

Языческая герметика не знает трансцендентности, «первоединое» индивида — огненный формальный эйдос, который посредством женской формы через воздух и воду превращается в сперму, образуя субтильное тело души, а затем, в стихии земли, тело физическое.

После Коперника, Галилея, Декарта микрокосмические иллюзии постепенно рассеялись, человек стал пылинкой во вселенной, жертвой любых уничижительных метафор. Послушаем Паскаля: «Я не знаю, кто меня послал в мир, я не знаю, что такое мир, что такое „я“. Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что такое мое тело, что такое мои чувства, что такое моя душа, что такое та часть моего существа, которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не более, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие пространства Вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не в другом месте... Вот мое положение; оно полно ничтожности, слабости, мрака».

Паскаль проецирует религиозную трансцендентность на ситуацию своей христианской и вполне абстрактной души. Субтильная телесность растаяла в «ужасающих пространствах», природа осталась один на один с каким-то ускользающим даже от минимальной фиксации «нечто», назовем его как угодно — вакуум, ничто, дух геометрии.

Изменилось ли что-нибудь за три с половиной столетия после появления «Мыслей»? Да. К вопиющей заброшенности прибавилась адова скука механизированного людского хаоса. После восстания масс мы живем в психологическом климате, напоминающем панораму новой астрономии: бесцельность, безразличие, пустота, где родственные по той или иной мотивации субъекты жмутся в мафию как звезды в созвездие, предпочитая ощипанную синицу трансцендентным журавлям. Ведь «для новой философии всё неясно... элемент огня исчез, солнце потеряно и земля... и никто не знает, где их искать».

«Анатомия мира» Джона Донна и «Мысли» Блеза Паскаля — сильные свидетельства в пользу

невыносимости дуализма духа и души, мысли и чувства. Но монотеист Паскаль «сугубо хочет страдать» и предпочитать тяжкие сомнения двойной спирали языческого бытия, которая разрешает естественное раздвоение личности.

Сей универсальный символ допускает бесконечные трактовки. Двойную спираль дает повторенная в зеркале спиралевидная линия: один завиток разворачивается слева направо (по часовой стрелке), другой справа налево — соответственно мужское и женское движение. Таким образом, единство раздваивается, не ослабевая в потенции своей, что следует из стихотворения Джона Донна «Запрет на печаль»:

Наши две души суть одно. Когда я уйду, это не разлука, нет,

Это сколь угодно гибкая растяжимость — так листик золота

Раскатывается до минимальной тонкости.

Наши две души суть одно — близнецы, подобные циркулю.

Я подвижен, ты фиксирована, казалось бы, и все же,

Наклоняясь, следишь за моей эволюцией,

И направляешь меня к моему началу.

Среди прочих, допустима и такая интерпретация: утвержденное в центре субтильное тело («наша Афродита» герметической анатомии) натуральным своим притяжением, женским центростремительным движением сдерживает мужской порыв в иное, во множественность. Когда начало и конец совпадают, образуется нейтральное поле, свободное от пороков и добродетелей, глупости и мудрости мира сего. «Наша Афродита» выделяет «радикальную влагу», названную в герметике «*abundatio lactanta mare philosophorum*» (молочное изобилие моря философов), У Артюра Рембо это «поэма моря, пронизанная звездами и молочно-белая». Драгоценная и многофункциональная влага «обволакивает» гибкой своей упругостью земное тело и душу, что дает искателю возможность безопасно пребывать в двух мирах.

Скажут: либо это слишком аллегорическое описание какого-то алхимического процесса, либо «художественная» трактовка обыкновенной эротической интроверсии. Справедливо.

Затейлив герметический лабиринт и мало сулит надежды на успех. Но следует повторить слова Альберта Великого касательно камня философов: «Если эта вещь существует, я хочу знать, каким образом она существует, если нет, я хочу знать, каким образом она не существует?»

Герметика не разделяет природу на органическую и неорганическую. К морским млекопитающим относятся не только киты, но и кораллы, которые питают детенышей коралловым молоком. Металлы и минералы размножаются наподобие зверей и растений. Жизнь и смерть не враждебны, добро и зло не враждебны. Герметика признает лишь одну динамическую оппозицию: мужское и женское. В проявленности человека мужчиной или женщиной, другой полюс сокращается до минимума в земном теле и земной душе, однако доминирует в теле субтильном. Обособление двух начал связано с прогрессивной

элизией в земную стихию, где преобладают границы, схемы, четкие контуры.

Одушевление тела — процесс медлительный и сложный, зависящий от качества и

фактуры четырех элементов. Душа (вегетативная, животная, рациональная) — *anima vegetabilis, animalis, rationalis* — формирует личность вплоть до совершеннолетия, добиваясь каждый раз иных результатов. Широкий диапазон обжор и пьяниц — от потребителей неважно чего до капризных и своеобразных гурманов; убийцы, насильники, «звери в человеческом облике» резко рознятся манерами и повадкой; идеологи и лидеры выбирают дорогу стада, сообразуясь с наивностью либо изысканностью своих инфернально-парадизических миражей.

Подобное разнообразие обусловлено родовой, клановой, коллективной душой. Это общие наименования антропо-фауно-флоральных средоточий матери земли.

И если психологи охотно рассуждают о «подсознательном» и «коллективном бессознательном», то разговоры о «сверхсознательном» они чаще всего предоставляют вести священникам и мистикам. Вверх идут одинокие тропинки. Только индивиды, то есть люди, одаренные «субтильным телом души» (*anima celestis*) способны подняться над рациональным сознанием.

Anima, душа — женская субстанция, соответственно «субтильное тело души» — женского пола. Это представляет немалые трудности для мужчины и недурные шансы для женщины. У женщины субтильное и физическое тело могут почти совпадать. Что значит почти? Гравюра *Anima Mercurij* (17 век). Обнаженная женская фигура вписана в два эллипса, правая нога чуть выдается, левая — чуть согнута. Внешний эллипс проходит над головой и внизу касается пальцев правой ноги, внутренний задевает темя и пятку левой ноги. Оба эллипса скоординированы относительно омфалоса и ктеис, которые образуют центры двойной спирали и при хорошем взаимодействии дают силу, гибкость и плавность. Здесь движение и неподвижность приближаются к совпадению. Отсюда потенциальная гармония женского тела.

Вот рисунок Витрувия, дополненный Леонардо да Винчи, «Мужчина в эквilibре». Динамика и покой выражены двумя позициями — в круге и квадрате. Фиксированная квадратом фигура имеет центром фаллос, фигура в движении — солнечное сплетение. Воплощенное противоречие, невозможное сочетание духа (круг) и материи (квадрат). Если для женщины гармония естественна, для мужчины это — решение квадратуры круга, героическое достижение. Женщина — его звезда и цель сублимации.

Но какой мужчина согласится признать женщину высшим существом?

Отношение иудео-христианства к женщине отличается нервической неопределенностью. В «Экклезиасте», правда, сказано однозначно: «Я смотрю на мир глазами своей души и нахожу женщину горше смерти. Она есть охотничий синок. Ее сердце — клетка, ее руки — цепи».

Упомянутый мифолог И. Я. Бахофен (XIX в.) в «Материнском праве» так подытожил мнения античных авторов от Аристофана до Симплиция: «Исторические циклы отмечены кровавой метой беспощадной борьбы полов, где женщина побеждает всегда. Проявленный патриархат, равно как доминация мужчины в семье, обычный прием женской политики».

В этих резких словах доля правды чувствуется безусловно. Финал фильма Луиса Бунюэля «Смутный объект желания»: умный пожилой сеньёр послушно плетется за наглой девкой, на минуту задерживается — на скамейке сидит женщина и ловко зашивает что-то. Сеньёр ассоциирует сие со своей жалкой ситуацией.

Она — иголка,

он — нитка.

Ибо

она — «владычица крови».

Сколько мужчин, презирая свое рабство, вновь и вновь твердят: что в ней особенного? Жалкое существо из плоти и крови, анатомически сходное с другими млекопитающими, умственно сходное с бурундуком. Но вот она раздевается, дыхание перехватывает, сердце замирает...

«До грехопадения, — писал в „Исповеди“ святой Августин, — мужчина делал со своим пенисом, что хотел, а теперь пенис делает с ним, что хочет». Закон ли это, роковая ли предопределенность?

Любопытна беседа французского этнографа Сент-Ива Венсана со старым индейцем:

«Вассавити и я грелись на солнышке у речки, где плескались две девушки. Я хотел навести Вассавити на интересующую тему, хотя порой отвлекался на купальщиц. Индеец заметил и усмехнулся:

— Суета мира сего, как говорят ваши священники.

— Разве ты, Вассавити, в молодости не заглядывался на женщин?

— Случалось, когда я был слепым кротом вроде тебя. Не обижайся, — он хлопнул по моей ладони, — белые люди все таковы. Даже к старости редко кто из них прозревает. Одна, — он кивнул на девушек, — серая медведица, другая — паучиха...

— Это сравнение?

— Не понимаю, какое тут сравнение. Вчера или сегодня или завтра для тебя облако остается облаком, камень — камнем, женщина — женщиной. На деле всё меняется, только открытые глаза спокойны». (Сент-Ив Венсан. Воззрения ирокезов на природу. 1972)

Индийский собеседник Венсана уточнил нашу игнорацию магических принципов. Для нас «всё течет» Гераклита — изменение, старение, исчезновение вещей и людей

формально неизменных. Иначе говоря, мы признаем материальную перемену, но не

трансформацию.

Женская ориентация — покой, постоянство, сопротивление разрушительному времени, удержание достигнутого, улучшение достигнутого. Женщина старается укротить и приручить мужское своеволие, направить экспансивную энергию на полезные цели,

цивилизовать дикого самца. Для этого мать-природа сотворила магию обнаженного женского тела.

Магия — система всеобщих, совершенно непонятных связей. В принципе ничего нельзя досконально растолковать, всякое объяснение есть псевдо-объяснение, утоляющее на время голод вопросительного знака. В отличие от ученого исследователя, маг не спрашивает «почему это так», а просто констатирует: «это так».

Женское тело воздействует магически, это так. Можно лишь проследить процесс и результат подобного воздействия. Женская прельстительность уничтожает настоящий момент, предлагая режим ожидания, надежды, будущей удачи или неудачи. Если мужчина сразу не овладевает женщиной своего эротического внимания, он безусловно изменяет своему

первобытному началу, теряет собственный ритм, уступает плавной женской монотонности. Начинается длительная и губительная

фиксация на внешнем объекте. «В фехтовании это означает смерть», — говорит буддизм дзэн. В магии это называется «погружением в лунное сияние».

Солнце рождает день, луна рождает ночь, планеты — их совместные дети и посредники: страшно подумать о последствиях одинокого столкновения двух светил. Солнце лишь способствует нашему произрастанию, мы — дети земли, подлунного мира. Когда говорят о «солнечном фаллосе» и «сынах солнца», имеют в виду героев, мифических в основном. Лишь гипотетическая автономия неба разрешает мысль о мужской автономии и доминации. Патриархат был религиозно обоснован приматом неба над землей и сперматического эйдоса над материей — отсюда монотеос, отец, монарх, лидер, активный субъект среди пассивно-страдательных объектов. Отсюда

теория о духовном мужском «истинном» и женском, материально-увертливом «неистинном». Но для свершения своего авторитарного действия мужскому субъекту необходимы сила и бескомпромиссность, господство интеллектуальной интуиции над дуальным «разумом вычисляющим». Допуская возможность проигрыша, торжества материальной субстанции, он теряет уверенность настоящей секунды и попадает в пагубный режим либо-либо. Начинаются колебания, страх перед фатумом, орел или решка, ожидаемый результат раздваивается на успех и неудачу, мгновенное решение заменяется соображением «взвешенным», то есть политико-прагматическим. Воин уступает место негодянту. Наползает царство расчета: рацию более не повинуется интеллекту и безвозвратно распадается в материи.

Мужчины буржуазной эпохи — «сыны земли», носители лунного пениса или «лунуса». Они суть дети по отношению к женщине любого возраста; пенис — только стимулятор жизненности вагины. Женщина

потенциально обладает пенисом, ибо женская магия знает, как развить клитор до соответствующих размеров и придать ему детородное качество. Поэтому с точки зрения магии в мужчинах «нет необходимости» — многие женщины, не умея объяснить, чувствуют это «нутром». Мужчина, правда, чрезвычайно полезен, если его

цивилизовать ; подобно огню, он «хороший слуга, но плохой хозяин».

Погружение в лунное сияние.

Лунатики, маниакалы, клептоманы, дипсоманы напряженно ощущают полнолуние. В центре серебристого круга, имеющие глаза, различают черное пятно, от которого исходит ядовитое марево. Оно окисляет металлы, тупит лезвия, вселяет беспричинный страх, порождает головокружения и прочее. Это ядовитое марево активизирует акул и летучих мышей, заставляет паучих интенсивней плести паутину (в гримуарах по магии считается, что паутину плетут только паучихи).

От «полнолуния» обнаженного женского тела исходят эманации

черной магнезии, которые дурманят мужские мозги и вызывают томительную эрекцию. Но это еще полбеды. Повышенно чувственные субъекты имеют шансы умереть от разрыва сердца или заполучить смертельную болезнь под названием «сатириазис», когда мозги разрываются от сладострастных, почти осязаемых образов, а постоянное возбуждение доводит до безумия.

Лунное марево и черная магнезия создают специфически женскую сферу монотонной фиксации. Отсюда магические

архетипы женских работ — шитья, ткачества, прядения, вышивания. Гипнотическая фасцинация женским телом вполне сравнима с поведением паука в режиме паутины. После спаривания, противиться коему он не в силах, паук в бесполезных попытках бегства застывает безвольной жертвой паучихи. Такова судьба самца в лунном сиянии матриархального пространства.

Мойры прядут судьбы людей и даже богов («Теогония» Гесиода), в гомеровской «пещере нимф» на каменных станках нимфы «прядут» человеческие тела, Пенелопа, Цирцея, Арахна равно искусны в ткачестве и эротических обольщениях. Резвый челнок, проворная игла, узор внезапно обрывается и продолжается в ином пейзаже и настроении: роскошная Антиопа превращается в козу, что нисколько не смущает влюбленного бога; Дафна прорастает лавром; охотника Актеона при виде обнаженной Дианы пронзает неистовая боль трансформации... и вот он — олень, затравленный собственными собаками.

Лунное марево над островом Цирцеи, монотонная тишина.

Мужчина здесь перестает быть мужчиной в смысле экспансивной свободы выбора. Его in excelsis и жажда сублимации совершенно устранены, Цирцея втискивает его в сомнительное счастье звериного бытия.

Если это парадиз, то парадиз зоопарка. Цирцея, равно как Деметра, богиня цивилизации. Яростные, строптивные агрессоры теряют в магических фильтрах Цирцеи присущие им атрибуты и застывают сомнамбулическим соцветием.

Магнетическая притягательность женского тела, монотонная однозначность желания.

В книге «Обычаи индейцев» (1598 г.) сэра Уолтера Рэйли — фаворит королевы Елизаветы конкистадор, писатель — повествует об Амазонке, Ориноко, об индейском племени юкка, где господствуют женщины. Повелительница племени восприняла как должное, что далекой страной Англией правит королева, но крайне удивилась, узнав о преимуществах мужчин. Как же так, ведь они хуже зверей! Среди них случаются искусные рыболовы и охотники, но у них нет разума, они жестоки и безмерно похотливы, их необходимо кастрировать, дабы

приручить. Вопросы касательно размножения повелительница племени сначала не поняла, затем объяснила: когда пробуждается желание, клитор вырастает фаллосом, если же потереть его травой «малингу», вырастает огромным фаллосом. От соединения женщин рождаются только девочки, мальчики появляются от случайных связей с «лесными мужчинами» или после спаривания со змеями и дикими зверями.

Сэр Уолтер Рэйли не комментирует этого, а только добавляет, что часто видел кастрированных мужчин, занятых тяжелой работой.

Сообщения о племенах «амазонок» часто встречаются в книгах путешественников и этнографов. Эрих Нойманн, оригинальный последователь К.Г. Юнга, считает сие реликтами когда-то всеобщего матриархата (Эрих Нойманн. Великая Мать, 1966 г.). Однако любопытно следующее: европейская патриархальная цивилизация так никогда и не смогла однозначно решить «женский вопрос». Фаллоцентрическому иудео-христианству пришлось перевернуть порядок вещей, дабы растолковать творение Евы из Адамова ребра. Разумеется, теологи объясняют это параболически, символически, метафорически, но суть не меняется: ради своего утверждения, патриархальная религия пошла против природы. Неубедительность библейской истории породила массу недоумений и возражений каббалистов и магов — от рабби Симеона бен Йохая до Агриппы Неттесгейма и Роберта Фладда.

Ева — душа Адама, по мнению рабби Хаима Витала (XVI в.) Далее повествование каббалиста напоминает известный афоризм Ницше из «Человеческого слишком человеческого»: «Сотворив женщину, Бог показал свое мастерство: глядя на мужчину, легко представить, какие трудности пришлось преодолеть на этом пути».

Итак, согласно Хаиму Виталу, женщина — высшее творение Господа — равно причастна небесной иерархии и хтонической природе, женщина центральна во вселенской гармонии. Почему же впоследствии подверглась она инвективам и подлым наговорам? Откуда столько обвинений: «скверна», «погибель», «золотое кольцо в ноздрях свиньи»? Зависть, злоба, тщеславие, непобедимое вожделение, — полагают Агриппа Неттесгейм и Хаим Витал. В книге последнего («Древо познания») драма грехопадения трактуется так: Адам прельстился обещаниями «змия» касательно запретного плода. Умная Ева только сделала вид, что вкусила от оногo, Адам съел целиком, причем кусок застрял в горле (адамово яблоко). После изгнания из парадиза начались всякие напасти: Адам покрылся шерстью, тестикулы чудовищно распухли, penis восстал до размеров необычайных и увенчался черным когтем. Ева пострадала значительно менее, ибо только вдохнула запах плода. Адам тщетно гонялся за ней, потом за дикой ослицей, потом принялся кататься по земле, пытаясь оторвать сатанинский подарок, наконец, измученный, уснул. Сострадательная Ева отрезала его член, оставив «десятую долю» — при этом, по преданию, сатана взвыл от боли. Отрезанный член прыгнул на Еву, вонзился в лоно ее — впоследствии родился Каин — и остался в ней клитором. Адам проснулся в обычном мужском образе, однако Еве пришлось долго отучать его от беспрерывной похоти.

«Вырос на мне ангел сатаны, избивает меня кулаками», — писал святой Рамон в пятом веке. И святой Бонифаций в седьмом: «Восстал из моего тела змий и потребовал поклонения».

Число подобных жалоб внушительно.

Палящим огнем, проклятьем пениса наградил Господь мужчину за непослушанье.

Penis не признает религиозных, социальных или родственных табу, реагируя на женскую субстанцию вообще, будь-то монахиня, мать, сестра, дочь, кто угодно. Жестокое потрясение, страх, тяжкая работа лишь на время его укрощают, кастрация, импотенция лишь стягивают, словно пружину, его бешеное рвение, которое просто меняет формы проявления, в момент смерти он исторгает сперму — добычу ламий или мандрагор.

Согласно Платону, голова и пенис взаимосвязаны, сперма суть мозг вытекающий. Правда это физиологически или нет, однако функциональность вычисляющего разума вполне аналогична сексуальной. Мужские глаза

анализируют женщину, чтобы ей

овладеть, рацию с той же целью

анализирует природу.

Людвиг Клагес (немецкий философ первой половины двадцатого века) в знаменитом сочинении «Дух — ненавистник души» полагает: этот «дух», эманация абсолютного Ничто монотеизма, трансцендентный, абстрактный, прежде всего, убийственно аналитичен. В другой книге, «Космогонический Эрос», он противопоставляет «фаллос небесный» земному пенису: «Тайный огонь эйдоса превратился в злую сперму пениса — символа дикой похоти, Таким образом, любовь мужчины и женщины перешла в смертельную ненависть, где один пол использует другой в целях сугубо эгоистических».

Характер и темперамент каждой женщины отражает ту или иную космическую стихию — землю или воду, воздух или огонь. В этом смысле женщины соответствуют элементам, населяющим стихии — хтонам, ундидам-нереидам, сильфидам, саламандрам.

«Женщины земли», послушные Гее, Деметре, Кибеле, нацелены на зачатие, роды, воспитание потомства. Мужчины — «мелиораторы», сельские работники, полезный инвентарь. Во времена кровавых культов великих матерей, мужчины жертвовали на алтарь богини свои гениталии, их разрубленные тела удобряли почву. Геродот упоминает, что во Фракии беременные женщины нередко убивали мужей и съедали их гениталии.

Женщина земли отличается деловитой пошлостью, основательностью, сугубой меркантильностью, ленивые зрачки мерцают и суживаются только в предчувствии материальных благ для нее и детей. Ее эминентные формы, влажный магнетизм ее женского средоточия властно притягивают мужской пенис, потом отбрасывают за ненадобностью. Она — живая аллегория геоцентризма. В прокрустово ложе ее моральной установки втиснуться невозможно: она обзывает мужчин «кобелями» и в то же время презирает «импотентов», ее характеризуют безличные ласкательные словечки — миловидная, хорошенькая, смазливая...

Она понятия не имеет о красоте, поскольку в этом не нуждается ее самодовлеющая целесообразность. Да, мужчина ее инструмент, но ведь и она — только инструмент «хтонид», великих богинь плодородия: за ними блуждают в протоисторических туманах тени древних, древних старух, повелевающих жестко детерминированной судьбой.

Динамика и горизонт воды устраняют жестокую целеустремленность и «назначение», предлагая женщине разнообразие выбора. Образуется специфическая женская гармония, обусловленная плавностью и текучестью линий, тайный или явный «танец» разлагает монотонность ходьбы, вздымает руки над угрюмой ежедневностью работы. Поэтому Фридрих Шиллер заключил:

Любая земная Венера, сопричастная небу,

Рождается в темной глубине виноцветного моря.

Красота отрицает устойчивое и детерминированное бытие, прошлое и будущее, уверенность в завтрашнем дне и прочее такое, красоте присуща свобода индивидуальности. Отсюда ее невозможность в современную эпоху, чьи бесконечные схемы, законы и стандарты порождены тяжелой земной стихией.

Фаллос Ураноса упал в море, так рассказывает Гесиод в «Теогонии». В розово-перламутрово-радужном кипении пены восстала удивительная девушка и вышла на песок острова Кипр. Под ее стопами раскрывались цветы, Эрос и Химерос — гении любви — сопровождали ее. Она внесла в жизнь богов и людей девичьи смехи и перешептыванья, обманы и дивные наслаждения.

Афродита Анадиомена — счастливая возлюбленная, всегда открытая любви,

она — преизбыточное богатство,

она, одаривая, ничего не теряет.

Хотя волшебство страсти — ее творение, ее дар, богиня, в принципе своем, не любящая, но возлюбленная; она не захватывает в плен, подобно Эросу, но побуждает к наслаждению. Царство ее беспредельно — от сексуальной страсти до экстастики вечной Красоты. Всё достойное обожания, восхищения, будь-то изысканные линии тела, искусство беседы или жеста, всё это называется по-гречески «эпафродитос».

Покорным ей мужчинам приносит богиня счастье — поэтому про удачный бросок игральных костей говорят: «милость Афродиты». С женщинами ситуация куда сложнее. При малейшем непослушании богиня вырывает их из спокойной и скромной жизни и отдает в объятия красивых чужеземцев. Так Медея стала жертвой любви к Язону и совершила ужасающие преступления. Потому в драме Эврипида «Медея» хор женщин заклинает: «О повелительница, не посылай нам от золотой тетивы стрелы бешеных желаний, оставь нам в удел скромность и покой.»

Женщину земли формирует дух времени, местный колорит, косметика, мода, словом, внешние влияния подгоняют и шлифуют ее в том или ином стандарте. Подобная женщина в высокой степени не свободна и не индивидуальна. Иное дело присутствие Афродиты Анадиомены. Богиня пробуждает в женской душе и теле активную и автономную жизнь сперматического эйдоса (он именуется также клиторис, мальчик с пальчик, тайный советчик, *Dyonis ruergom* — мальчик Дионис). В значительной степени независимо от окружения, композиция души и тела таинственно меняется, превращая женщину в существо дивное и неповторимое.

Согласно Николаю Кузанскому, «из двух оппозиций одна всегда стремится быть единством по отношению к другой», то есть подчинить эту другую, ассимилировать ее. Оппозиции «жизнь — смерть» резко отличают язычество от монотеизма. Язычество не видит в смерти ни малейшей трагедии, смерть — катализатор трансформации, переход в иную модификацию бытия.

Для монотеистов жизнь, по крайней мере «эта жизнь», явление весьма случайное. Творцу вдруг вздумалось молвить «да будет свет» и сотворить мир из ничего. Затем Сын Божий, которому не понравилась юдоль земная, выдвинул вполне платоническую идею «царствия небесного». Новое небо, трансцендентное и теоретическое, стало объектом сугубо духовного

созерцания.

Сверхсущий монотеос довольно быстро обрел атрибуты и акциденции и затем распался на множество «единств» — от Творца и Богочеловека до абсолютного «я» Фихте и обыкновенного, столь же теоретического, «эго». Трансцендентность Творца отразилась на земле изоляцией «я» от всего остального, ограничением, фиксацией. С каждым столетием новой эпохи смерть выигрывает у жизни, человек ныне опутан цифровыми кодами, стандартами, правами и обязанностями словно Гулливер нитками лилипутов. Земля — основная материя творения по книге Бытия — стала трамплином для святых и трясиной для обыкновенных людей и, поскольку земля легко отдается измеримости, покою и фиксации, стала она более реальной, нежели другие элементы. Рыба в воде, бабочка в томном прозрачном мареве доступны лишь субъективному созерцанию — для изучения объективного надо их поймать, убить, пригвоздить.

Аналитическое познание, основанное на фиксации и равнодольности, суть синоним смерти. Подобное познание конструирует общие модели, разделяя природу на мертвое и «пока еще живое». Уже лет триста модель человека функционирует в модели вселенной, причем ученые обещают гибель и этого псевдобытия, прогнозируя космические и техногенные катастрофы.

Ученые, как и большинство наших современников, люди истинно верующие. Они безоговорочно верят в смерть. Что есть вера? Вера в «нечто» делает это «нечто» сердцевиной верующего. Вне колебаний и сомнений. Люди новой эпохи могут сомневаться в Боге, богах, будущей жизни, вообще в чем угодно, однако в смерть они верят свято.

Характерно иудео-христианское мнение о человеке: персть земная, прах земной, из земли ты вышел, в землю уйдешь, раб Божий и т. п. Этой материи, этой земле, этой персти земной присуще беспредельное *privatio*, то есть лишенность, нужда. Посему рациональное познание аналогично охоте и войне.

Святая вера в смерть или, напротив, святая вера в жизнь радикально отличает монотеизм от язычества, медицину от спагирии, химию от алхимии, науку от магии

«Извлечение благородных металлов, — пишет Титус Буркхарт, — из смешанной породы с помощью элементов растворяющих и очищающих — например, ртути и сурьмы в соединении с огнем — невозможно без преодоления мрачных и хаотичных сил природы; реализация „внутреннего серебра“ или „внутреннего золота“ — в их чистоте и нетленной озаренности — невозможна без преодоления иррациональных и темных тенденций души».

Буркхарт очевидно имеет в виду, исходя из гипотезы о четырехчастном делении души, ее вегетативную и анимальную часть.

Далее автор цитирует очень важный фрагмент из автобиографии жителя Сенегала:

«По знаку моего отца подручные привели в действие два кожаных меха справа и слева от горна и соединенных с ним глиняными трубками... Отец длинными клещами схватил котел и поставил на огонь. В мастерской замерло всякое движение: пока золото плавится, а затем охлаждается, нельзя поблизости работать с медью или алюминием, дабы частицы этих низких металлов не попали в котел. Только сталь не мешает делу. Но те, кто хлопотали близ нее, закончили работу и подошли к подручным моего отца. Слишком стесненный, отец их отстранил простым жестом: он не сказал ни слова, никто ничего не говорил, даже колдун. Слышалось только посвистыванье мехов и легкое шипение золотой массы. Но если отец и не произносил слов, я знал, что они рождаются, шевелят его губы, когда, склонясь над котлом, он перемешивал уголь и золото концом палки, которая сразу воспламенялась и приходилось ее менять.

От каких же слов шевелились его губы? Не знаю, не знаю точно, ничего мне не сообщалось. Но что другое, если не эвокации? Не заклинал ли он духов огня и золота, огня и ветра, ветра, свистящего в трубках, огня, рожденного из ветра... не заклинал ли он свадьбу золота и огня, не призывал ли духов на помощь? Да, там плясали они, и без них ничего бы не было...

И не удивительно ли, что маленькая черная змея подползла и свернулась вокруг одного из мехов. Она отнюдь не часто являлась в гости к отцу, но всегда присутствовала при плавке золота...

Тот, кто плавит золото, должен предварительно тщательно вымыться и, конечно, воздерживаться на все время работы от сексуальной близости...»

Голландец Бенжамен ван Леув в «Путешествии этнографа по центральной Африке» (1963 г.) распределил по группам более сотни магических обращений и действий с материей: «контакт с предками»; «обретение силы»; «оказание помощи»; «просьбы об участии в празднествах деревьев, зверей, минералов»; «просьбы о содействии». По словам этнографа, «это жалкая попытка классификации магически ориентированной жизни туземных народов». «Однажды, — вспоминает ван Леув, — я вышел поутру на берег озера Ньяса и удивился, не заметив привычной береговой скалы. Она пошла к бабушке на похороны, объявил мой проводник, к новолунию вернется». В конце книги автор передает странную сцену уже на океанском побережье: «Мистер О'Флаэрти из нашей группы, купаясь, обжегся о большую медузу дивной красоты; в отместку он вытащил медузу багром на песок и забросал камнями. Наши негры взвыли, бросились на песок и принялись раздирать ногтями грудь и лицо. Потом вскочили и, знаками приглашая нас, побежали за утесы. Мы машинально последовали за ними. Через минуту небо над заливом заволокло густая сеть блестящих волокон багряных, желтых, фиолетовых оттенков. Настала тишина, замолкли даже обезьяны и драчливые попугаи мабутсу. Вскоре небо прояснилось. В заливе не осталось ни одной рыбацкой лодки — они погрузились в воду. Перепуганные местные жители ничего толком объяснить не смогли.

Через несколько лет я прочел нечто аналогичное у Плиния Старшего. Он назвал чудовищную медузу *cianea floris* и добавил, что это одна из модификаций богини Афродиты».

Два эпизода, упомянутых голландским этнографом, как и любые натурально магические события, относятся скорее к сфере полюса жизни, нежели смерти. Книги этнографов и путешественников полны описаниями подобных случаев, ибо туземные народы, пока их не съела цивилизация, живут в атмосфере *abundatio materia*, сказочно плодovitой материальной природы.

Из двух оппозиций новая эпоха выбрала смерть как самодовлеющее и несомненное единство, более того: жизнь, по ее мнению, при неисчислимости благоприятных факторов, обусловлена гниением, разложением, случайным возникновением органического из фундаментально неорганического. Жизнь — явление исключительное, потому-то ученые никак не разыщут аналогий во вселенной. Войны, болезни, похороны заставляют приходить к максиме: «живем один раз» — выводы отсюда совершенно необъятны.

Что мы имеем? Преходящую жизнь, затем черное небытие либо зловещие туманы аутсайда, затем весьма проблематичную тропу бессмертия души и воскрешения плоти. Небогато.

Однако в стопроцентной несомненности небытия присутствует трещинка, изъян. Иначе нельзя объяснить стойкость платоновых пещер, вечных возвращений, фонтанов жизни, эзотерических путеводителей. Здравомыслящие граждане любят почитать об этом, но вообще полагают, что трещинка ползет не по монолиту небытия, но в головах бездельников и

фантазеров.

Материю характеризует пассивность, потенциальность, лишенность (*privatio*). Но при всем том всякому виду материи присуща собственная спецификация лишенности: слепые глаза хотят видеть, дерево хочет пить, огонь хочет пожирать дерево. Только материя человеческого мозга уникальна и всепожирающа как небытие. И поскольку человек новой эпохи сделался сателлитом смерти, его бесят «жесткие рамки» отпущенного срока, который надобно распределить рационально, как заключенный распределяет кусок хлеба.

Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible...

Часовой механизм! Бог зловещий, устрашающий, бесстрастный...

Далее в знаменитом стихотворении Шарля Бодлера проступает следующий образ: «Три тысячи шестьсот раз в час... Раздается писк секунды, злобного насекомого: „Помни!“...»

Теперь говорит: „Я уже

Когда-то... Я высасываю твою жизнь своим ненасытным хоботком“».

В подобном климате слово «жизнь» иррелевантно. Выжить, существовать, бороться за существование. Поэтому здесь промышляют взаимным вампиризмом и убийством, разделяют, распределяют на полезное и бесполезное, ломают и строят, анализируют и синтезируют. Но любой субъект, который познаёт людей и природу экспериментальной вивисекцией, сам становится объектом аналогичного познания.

Из магического мировоззрения следует исключить христиански интерпретированную «черную магию», только внешне напоминающую колдовские ритуалы древности. Изощренностью, точностью, ориентацией на смерть черная магия вполне похожа на современную науку. Но несмотря на несомненную гениальность, ученым далеко до мастеров позднего средневековья. Достаточно почитать «Анналы инквизиции 1400–1450», изданные в 1860 году доминиканцем Луи де Шандором, перешедшим в масоны. Гуманное негодование составителя против инквизиции не мешает ужасаться делам поклонников Зла: деревни и города, опустошенные неслыханной болезнью; ливень тарантулов и ядовитых змей с голубого неба; бургомистр, вспыхивающий словно внезапный факел; группа солдат, уходящая в гранитную скалу раз и навсегда; поселок в тысячу душ, который ложится спать и более не просыпается. Все это записано в донесениях и судебных отчетах в графе «О других предосудительных событиях».

Транзитность жизни и триумф смерти четко означили тенденции натурфилософии и научной активности после средних веков. Медики, фармацевты, химики, либо в сложных микстах растительных и животных соков с кислотами и солями, либо в неустойчивых соединениях золота и серебра, либо в сульфатах и окислах вульгарных металлов, стремились отыскать фильтры и эликсиры долголетия.

В XVI–XVII вв. с торжеством монотеистической, точнее, христианской алхимии и уподоблению Страстей Господних перипетиям философского камня воцарился полный хаос. В ретортах и алембиках побывали; слюна старух, урина, кровь новорожденных младенцев и первых регул. Атмосфера лабораторий насыщалась эмоциями самыми различными — от всепожирающей алчности до сокровенной пиеты, горло и губы искажались и надрывались ревом и воем

инкантий, черными литаниями, молитвами Деве и Сыну. В пьесе Бена Джонсона «Алхимик» аптекарь восклицает:

Хвала Иегове! В шкатулке этой волос

Хвоста дьявола. Великий Захиэль

Рекомендует сей ингредиент.

Постепенно эти хаотические опыты вытеснила тяготеющая к точности концепция

меры, количества и веса добытой насильственно, а потому мертвой материи. Далее Декарт, Роберт Бойль, Ньютон, современное естествознание.

Ты вышел из земли, в землю уйдешь, но прежде постарайся извлечь из матери материи всё и еще больше.

В глубине материи скрыта эйдетическая форма (эйдолон), которую необходимо пробудить к действию. Так под

влиянием скульптора в мраморе зреет статуя, так резчик

освобождает деревянную ложку из дерева (Николай Кузанский. Книга простеца). Spermatozoid или фермент связует космические элементы тайным огнем, потому-то

выявленный артефакт столь энергично суггестивен. Когда фермент активизируется, материя (мрамор, дерево, глина, лист бумаги)

беременеет и помощью артиста, играющего роль повивальной бабки. разрешается статуей, амфорой, стихотворением.

В данном случае, за материей вообще не признается атрибуты «лишенности» и «пассивности», созерцатель, скульптор, герметик относятся к ней как субъект к субъекту.

Согласно Майстеру Экхарту, для раскрытия эйдетической формы материи необходимо избавиться (материю необходимо избавиться) от всех внешних наслоений. Артист может только очень и очень деликатно способствовать подобному процессу. Статуе, фонтану, неопиту самим надо преодолеть тягость матери земли и подняться в подвижную среду воды, воздуха и огня или, иначе говоря, в область сомнамбулизма, фантазмов, миражей и галлюцинаций.

Но кто

он, кто видит и слышит миражи и галлюцинации, когда земная плоть отступает? Куда направляется существо, которое идентифицирует данности восприятия как свои? На поиски subtilis corporis собственной души, в зыбкую реальность Океаноса. Подобное существо вполне материально в материальности сновидений и фантазмов. «Необходимо огню спуститься в форме воды, чтобы очистить материю...» — примечание президента д'Эспанье, знаменитого алхимика. Космическая стихия воды активней земли, там нет смерти как неподвижности и стагнации.

Это связано с мифом о hyle или materia prima. Геракл преследовал нимфу Гиле, которая прыгнула в фонтан и приняла

форму автономной воды. Геракл отделил ее от земной воды в виде цветка. Потому Раймонд Луллий и написал: *florem nare per liquidum aethere* — цветок рождается из текучего эфира.

В акватической среде разумное вычисление бесполезно, здесь ведет только интуиция Красоты. Восприятие распадается и дробится, образы, прикосновения, звуки, запахи блуждают порознь, собираясь в нечто организованное и вновь рассыпаясь. Как распознать в субстанции *anima mundi* субтильное тело собственной души? Прекрасное притягивает, но этого мало. Надо, чтобы «я» обрело

там плоть и кровь. Артю Рембо: *Being Beauteous*.

«Снег. Прекрасная Она. В свистящей и гулкой музыке смерти ее дивное тело вздрагивает словно спектр, малиновые и черные раны вспыхивают в гордой плоти. Вокруг Видения рождаются и танцуют живые колориты. Сцена, помост. Хриплый свист, рваная музыка преследуют нашу мать Красоту. Далеко за нами. Она отступает, она вздымается. О! наши кости в новой плоти любви.»

Если человек не верит в

серьезность неоплатонической «фантазии» и считает одинокий поиск очень сомнительным, очень опасным, он уходит в «иное», хорошо или плохо устраиваясь среди людей, и отрекается от метахтонического пути «я». И так, «фантазия» — климат напряженной сублимации внутреннего Эроса и активной эстезии. В отличие от фантазии, воображение пассивно, рецептивно, реактивно, репродуктивно. Нам не дано определить границу субъективного восприятия и «объективной» реальности. Но вполне вероятно следующее: чем пассивней восприятие, тем жесточе вещи и события вампиризуют нас.

Воображение: материя чрезвычайно хищная, пористая, впитывающая всё — сны, случайные разговоры, теории, мнения и, подобно некоторым видам тропической паутины, пожирающая своего «изготовителя».

Воображение: адская смесь дурных предчувствий, боязливых надежд, псевдо-интуиций, сладострастных силуэтов, идей фикс, компенсаций, ожиданий, ужасов, искаженных копий знакомых либо прохожих — это пронизано социально акцентированными гипотезами касательно жизни и смерти, религии, морали, эстетики.

Если воображение превалирует, личность растворяется совершенно. Человек проявляется лишь при концентрации воображения вокруг профессии, семьи, игры, любви. Эта концентрация обусловлена «интересом». Когда интерес пропадает, концентрация ослабевает, человек рассеивается в хаосе воображения. Интерес — разновидность тягости, притягательности хтонической бездны, интерес возбуждается

провокативом, а всякий провокатив — женская прелесть, деньги, власть, наркотики — действует тем эффективней, чем слабей целое, индивидуальность.

Земля во всех модификациях — от стерильных пустынь до роскошной вегетации тропиков, основа и мать всех царств природы. Ей принадлежит львиная доля менделеевской таблицы, где вода и воздух занимают сущую чепуху, огонь вообще на присутствует. Однако представить землю без трех остальных стихий нельзя. При этом данные стихии не порождены землей и ее производными не являются. Легитимно предположить: в режиме воды иные три стихии пребывают иначе, нежели в режиме земли. Сие справедливо касательно воздуха и огня.

Земля. Если мы в перспективе новой астрономии полетим, скажем, в другую галактику,

ничего качественно не изменится — разве только химический анализ другой планеты обогатит менделеевскую таблицу.

Эмоциональная, умственная, телесная деятельность, пусть даже максимально динамичная, базируется на земной атрибутике: всегда необходима основа, ось, опора, стабильность, начало и конец. Но главный атрибут земной жизни — тягость, притяжение. Когда во сне наше «я» распадается в сомнамбулических перифериях, земное притяжение пробуждает нас и собирает привычной композицией. Слава богу, вздыхаем мы после кошмара, черт бы подрал эту ежедневную бодягу, говорим мы, вырванные из блаженного сновидения.

Земная жизнь, изуродованная механицизмом, с каждым годом обретает дополнительные качества невыносимости. В климате дефицита, скудости, лишения (privatio) — ибо какую пищу телу и душе дает непрерывная ре-продукция и ре-трансляция? — воображение превратилось чуть не в единственный источник компенсации. Стимулируя воображение разнообразными допингами, люди всё чаще отправляются в рискованное «каботажное плаванье», однако притяжение берега, прилив снова втягивают на землю «пловцов». Спровоцированные сновидения, наркотические либо алкогольные галлюцинозы вызывают нервные недомогания и социальные преследования, но, по словам Шарля Бодлера, «куда угодно, только подальше от этого мира».

Однако свобода суть поиск квинтэссенции, Изиды или Афродиты. Это следует понимать как угодно — символически или буквально.

Артюр Рембо: *L'étoile a pleure rose...*

«Сердце твоих ушей розовеет от звездной слезы... Бесконечность змеисто белеет от твоей шеи до омфалоса... Море багряно пенится близ твоих румяных сосков... И Человек истекает черной кровью у твоего царственного бедра».

Деликатное приближение к божественной неопределенности Афродиты Анадиомены — матери «моря философов».

Титус Буркхарт хорошо изложил земные параметры алхимии, дал представление о процессе, ступенях и колоритах великого магистерия. Остается маленькое «но»: тайный и сугубо индивидуальный огонь — без него работа бесполезна, успех немислим. Если бы алхимия, подобно химии,

опиралась на «объективные законы», коллективы НИИ давно бы решили проблему питьевого золота в частности и камня философов вообще. «Пудра проекции» не действует в чьих угодно руках, необходимо присутствие ее автора. Только в романах, скажем, у Густава Майринка в «Ангеле западного окна», пудра проекции, похищенная из гробницы святого Дунстана, эффективна в любой ситуации. Разумеется, это не единственное, но очень важное условие.

Если алхимия в начале восемнадцатого века медленно и неотвратно перешла в научную химию, то какой смысл рассуждать об алхимии сейчас? Сам факт подобного перехода отлично иллюстрирует прогрессивную диссолюцию традиционной мудрости. О чем говорить, если даже Юлиус Эвола, даже Титус Буркхарт склонны смешивать алхимию с хатха и тантра йогой. Более того: великолепнейший эрудит (может быть и больше) Клод д'Иже упрекнул самого Рене Генона в том, что «он в сущности считает всю оперативную алхимию занятием

суффлеров и сжигателей угля».

Вспомним строку Джона Донна: «Солнце и земля исчезли. Элемент огня исчез и никто не знает, где его искать». Однако герметика вечна и ее временное затмение, обусловленное духом новой эпохи, ни о чем не говорит. Так поэт Жерар де Нерваль сказал в одном сонете: «Они вернуться — Боги, о которых ты тоскуешь».

Двадцатый век по преимуществу время интерпретаторов и археологов, время, если можно так выразиться, генеральной ревизии мусорной свалки истории. Алхимия, равным образом, не избежала тщательного досмотра. Сотни книг вышли на тему сию, фолианты и гравюры, которые когда-то были предметом кропотливых поисков, ныне, благодаря технике репродукции и компьютерам, доступны всем и каждому. Результат разумеется нулевой, поскольку информация и хмурость взаимоисключаемы. И все же есть бальзам в Галааде. Современная эзотерика насчитывает с десятков первоклассных мудрецов, алхимия... тут дело обстоит хуже. Кроме Александра фон Бернуса, Эжена Канселье и Клода д'Иже назвать следует только одного человека.

Фулканелли.

Ситуация этого мастера загадочна и парадоксальна. Благодаря окаянным масс-медиа, вдохновленными Эженом Канселье (что, понятно, его не красит) имя «таинственного и великого Адепта» засверкало ядовитыми рекламными пятнами. Канселье почел необходимым воспевать Фулканелли как Дарзи воспевал Рики-Тики-Тави в сказке Кипплинга. Как сказал Франклин москитам «коснейте в злодействах, кровопийцы», как сказал Ницше ученым античникам «растаскивайте, свиньи, капусту из огорода».

Почему так резко?

Потому что мастер алхимии не звезда шоу-бизнеса.

Попробуем взглянуть на феномен Фулканелли вне Эжена Канселье.

Его книги («Тайна соборов», «Обитатели философов») дают достаточно материала для оценки уровня и квалификации. Авторитетный тон, понятный, очень образный язык, изобилие совершенно великолепных примеров, зачастую весьма редких, выдают замечательного эссеиста. (Этот жанр прославили французы после Монтеня). Здесь надобно сделать существенное замечание. Книги Фулканелли никоим образом не напоминают «книги адептов», таких как Джордж Рипли, Ириней Филалет, Сендивогиус, Сетон, Томас Воган, которые отличаются запутанной сложностью, темным аллегоризмом, геральдической эмблематикой. Достаточно пролистать работу французского алхимика XVII века Гобино де Монтлюизана «Примечательное объяснение иероглифических фигур главного портала собора Нотр-Дам», чтобы заметить совершенно другой подход Фулканелли. Основная миссия современного мастера: просветить призванных, обнадежить страждущих, протянуть руку мученикам механизированной буржуазной сутолоки — задача сугубо христианская. Алхимик Клод Фролло, герой романа Виктора Гюго «Собор парижской Богоматери», указывая на одну из первых печатных книг, сказал: «это убьет то». Под словом «то» он имел в виду собор, его барельефы и фигуры. Фулканелли вслед за Монтлюизаном взялся данное мнение опровергнуть, в отличие от Монтлюизана написал увлекательную «Тайну соборов». Спасибо ему, он познакомил читателя с прекрасными художественными частностями, о которых не знал даже Гюго. Но убедила бы его книга Клода Фролло? Вряд ли.

Небольшое отступление в долгую историю одного заблуждения.

Уже Лафонтен в семнадцатом веке трактовал басни Эзопа иносказательно. Для него «попрыгун-кузнечик» и «трудолюбивый муравей» — аллегии людей легкомысленных или прилежных, хотя античные толкователи полагали, что речь идет о нравах насекомых. В эпоху

барокко в жизнь ворвались тучи секретов и тайн, ибо жизнь без таковых стала казаться

неинтересной, и туманы иносказательности нависли над Европой. Просто констатировать «наступила зима» скучно. В мираклях зиму (по-французски «hiver») представлял человек с большой зеленой буквой «I» в руке — («I-vert», зеленое «И»). Фулканелли приводит много примеров остроумных аллегорий. Лучше употреблять более широкий термин «аллегореза» — так называется вообще толкование скрытого смысла фраз и фигур; слова «символ» следует избегать, поскольку относится оно к весьма трудной цепи эйдетической вертикали и его часто путают с обыкновенным знаком. И все же следует подчеркнуть: магия и алхимия суть

акроаматика — так называли греки систему жестов и умолчаний, принятую в пифагорейских школах. Отсюда вывод: от мудрости посвященных к знанию даже очень образованных людей никакая тропинка не ведет. Поэт Каллимах выразил сие категорически;

Ветер внезапно прошел в листве Аполлонова древа.

Святылище вздрогнуло вдруг — нечестивцы, бегите отсель.

Но это языческая мудрость. Как известно, греческие боги не особо жалуют людей, им чуждо христианское

агапэ. Фулканелли, глубоко верующий христианин, понятно, думает иначе. Он думает, в подражание Христу, людям указать путь, хотя трудный, но спасительный, дать им в руки компас и карту, Мастера заполнили книги свои аллегориями, символами, анаграммами, палиндромами, подобно поэтам-маньеристам, а также инвенторам *ars combinatoria* и *signatologia*. Для расшифровки этих ребусов Фулканелли предлагает, вслед за Фабром д'Оливе и Грассе д'Орсе, метод «фонетической кабалы». Что же получается? Замена одного шифра другим. Во втором томе «Обитателей философов» он «переводит» фрагменты трудного текста немецкого алхимика Наксагора на «понятный французский». У Наксагора:

«В Каупер-Цель, на горе Готт, в пяти милях от Шонека, имеется великолепная медная россыпь».

У Фулканелли:

«Эта светлая кристаллическая соль превращается в стекловидную медь. Это „наша медь“ или „латунь“ или „зеленый лев“ по милости Божьей».

Фулканелли полагает, что читателю прекрасно известен смысл «нашей меди», «нашей латуни» и «зеленого льва». Но даже очень и очень квалифицированному читателю знакома только сфера данных понятий. Наша медь — интерьерная Афродита Киприда, наша латунь — Латона, мать Аполлона и Артемиды, «зеленый лев» ... среди сотни значений последнего предпочтительно здесь юное зеленое солнце созвездия Овен. И надо еще долго размышлять над соответствиями химических веществ. Споры нет, Фулканелли слегка прояснил сибиллов текст Наксагора, но где мы найдем второго Фулканелли для дальнейшей интерпретации? И какой прок в расшифровке загадочного «озера мертвого света»? Имеется в виду «сад Гесперид», просвещает нас мастер. Однако в каталоге алхимических книг Фергюсона по крайней мере три называются «Сад Гесперид», ибо донельзя загадочен этот самый сад.

Комментатор собора Нотр-Дам знал, разумеется, роман Виктора Гюго и, вероятно, держал в памяти кошмарную историю Клода Фролло. Архидьякон был не только начитан, но силен и отважен. Он отлично понимал, что даже достоверное проникновение в метод и структуру

великого магистерия не сулит ни малейшего успеха без наличия тайного индивидуального огня. Алхимик либо рождается с таковым, либо находит его. Клод Фролло знал, что пламя черного сульфура (Квазимодо) приведет его к питающему женскому огню или «молоку девы» (Эсмеральда), а затем к Фебу — солнцу и золоту. Но так как Виктор Гюго писал роман с неизбежным моральным подтекстом, а не трактат по алхимии, он осудил своего героя, умолчав о его триумфе, о его очищении смертью, о начале «опуса в белом».

Вернемся к Фулканелли, к свидетельству Эжена Канселье. Степень мастера обретает алхимик по завершении «опуса в белом», то есть на четком пути к

магическому золоту, степень адепта при

нахождении или творении «золота философов». Канселье сообщил, что с помощью «пудры проекции», полученной от Фулканелли, он произвел трансмутацию ртути в золото. Хороший индикатор. Но мы вправе спросить, какое золото? Если обычное химическое, то это чепуха. Мы уже упоминали: без присутствия адепта и эманации его тайного огня нельзя получить ни магического золота, ни золота философов, которое в просторечии называется философским камнем.

Во фрагменте «биографии жителя Сенегала» Титус Буркхарт дал представление о методе получения природного магического золота, хотя этот самый «житель» значительно упростил процесс. Очень обстоятельно, правда, весьма зашифровано, «опус в белом» описан Сендивогиусом и Томасом Воганом. Слиток магического золота легко растворяется в вине. Франсуа Рабле в пятой книге «Пантагрюэля» дал прекрасную характеристику «питьевого золота» в рассказе про «божественную бутылку» храма Диониса.

Книги Фулканелли превыше всяких похвал и без суперлативов Канселье. С большим вероятием можно назвать его мастером или магистром оперативной алхимии. Но ни один мастер, подобно Рюбецалю из немецкой сказки, никогда и никому не скажет своего подлинного имени и звания.

Титус Буркхарт полагает доказательством живучести «королевского искусства» веками сохраненные очередность и принципы магистерия. Это логичный довод. Но, по нашему мнению, без присутствия тайного, сугубо индивидуального огня работа бесполезна.

О магической географии

В темном углу гавани Коринфа неторопливо гнил и разрушался заброшенный корабль «Арго». Каждый вечер Язон приходил посидеть возле него, вспоминая героическое плаванье за «золотым руном». Ныне, оставленный богами, лишенный царства, покинутый ужасной Медеей, без детей, без друзей он угрюмо созерцал свою душу, где торжествовала та же гниль и разрушение. В конце концов он взобрался на форштевень и повесился. Но форштевень не выдержал тяжести, подломился и придавил его насмерть. Так бесславно погиб один из великих греческих героев.

Это трагический и загадочный миф. Мы знаем только имена героев-участников, перипетии плавания, возвращение из Колхиды в Грецию, деятельность колдуньи Медеи и прочее в таком роде. Но мы не знаем «то ради чего». Что такое «золотое руно»? Шкура необыкновенного барана, высшая ценность, философский камень? Или магический раритет наподобие «кубка святого Грааля», что вечно ищут и не находят никогда, который дает обладателю невероятные возможности? Даже в статуте ордена Золотого Руна, учрежденного герцогом Филиппом Бургундским в середине пятнадцатого столетия, ничего не сказано о сути

дела, кроме того, что это «тайна превыше всех тайн».

Даже плавание в Колхиду, несмотря на многочисленные опасности, вызывает недоумение. Слишком близкое расстояние, хорошо известная страна не объясняют ни тщательности постройки корабля, ни включения в экипаж самых знаменитых героев Эллады. Может быть, имеется в виду какая-нибудь другая «Колхида»? В стихотворении «Мираж в Сицилии» Джакомо Лубрано, итальянского поэта семнадцатого века, сказано:

«Заблудившись в неведомых океанах, закрученный невиданным смерчем,

„Арго“ взял за весла новые звезды.»

Эти строки Лубрано дают намек на магическую географию, отличную от географии исторической. Последняя занимается догадками касательно когда-то существовавших материков, исчезнувших под влиянием тех или иных катаклизмов — Му, Лемурии, Гондваны, Атлантиды, Гипербореи и т. д. Магическая география основана на принципиально ином мировоззрении. Море и небо — однородные стихии, звезды — живые плавучие острова, неподвластные ни координатам, ни каким-либо измерениям. Одно дело — бытие и совсем другое — стремление человека упорядочить бытие.

Царство Посейдона поистине бесконечно. Человеческое восприятие обусловлено замкнутым кругом — мореходные и астрономические приборы могут расширить радиус, но никогда не изменят изначальной парадигмы человека — центра и окружности. В любой деятельности мы должны наметить центр, а затем горизонт — вероятное прекращение центростремительной активности. Рождение и смерть точно такие же центр и горизонт. Они совершенно необъяснимы, а потому рассуждать о каком-то реальном познании полностью абсурдно. Любой вариант познания легитимен по-своему. Например, Эдгар По прочел любопытный пассаж у географа Герхарда Меркатора: «Я ознакомился с картами Меркатора, где океан обрушивается в четыре горловины северной полярной бездны и поглощается земным нутром. Полюс на этих картах представлен огромной черной скалой.» Аналогичные тексты легко отыскать у Афанасия Кирхера, Роберта Фладда и Джона Ди, если не двигаться далее шестнадцатого столетия.

Подобные тексты — отражения гимнов и прозаических фрагментов греческих и римских поэтов и мифологов. Есть места (Мальстрем в северном океане, Рамес в южном), где Океанос чудовищными водоворотами, минуя Аид, устремляется в бездонную пропасть Тартара. Последний случай описан в рассказе Эдгара По «Рукопись, найденная в бутылке». Немыслимый ураган близ острова Ява. Двое бедолаг на палубе агонизирующего корабля, волны — яростные пенные хребты, фосфоресцентные бездны...

«Мы были на дне такой бездны, когда отчаянный крик моего спутника вонзился в кипящий кошмар ночи: „Смотрите, смотрите, Боже, что это!“ Я поднял голову — по краю бездны расплзался угрюмый багровый свет, пятная тусклыми отблесками нашу палубу. Кровь заледенела: на ужасающей высоте прямо над нами, готовый вот-вот рухнуть в бездну, застыл гигантский корабль, не менее четырех тысяч тонн...»

Нарратор невероятным образом попадает на этот корабль старинной постройки, где бродят древние старцы, никого и ничего не замечающие, — люди экипажа в странной одежде давно минувших времен. И судно идет, не замечая урагана. И вдруг: «Корабль внезапно восстал из моря, словно собираясь взлететь. О ужас сверх всякого ужаса! Лед трещал и ломался и справа, и слева, и корабль ринулся вниз, по концентрическим кругам невероятной ширины амфитеатра, края которого пропадали в напряженной тьме... Круги сужались, сжимались, нас

неудержимо влекло в головокружительную глубину ревущего океана.»

Беспощадная, затягивающая турбуленциями воды и свистящего ветра бездна.

Впадины и пропасти, указующие подобные гибельные водовороты, означены на картах, начертанных Джоном Келли и Джоном Ди во время их сеансов вызова ангелов в конце шестнадцатого столетия. Общая схема такова: под сравнительно малой поверхностью обитаемой земли медлительно плавают Аид, размеры которого гораздо значительней; под Аидом располагается Тартар — его размеры и глубины неисповедимы. Попадание в Аид не катастрофично, из него есть выходы на землю, некоторые герои посещали Аид, некоторые храбрецы покидали его. Но Аид — край ночи — матери земли, и начало Оркуса или Тартара. (Согласно Джордано Бруно, нижняя триграмма вселенной состоит из Хаоса — отца Оркуса, и Оркуса — отца Ночи.) Во всепоглощающей пропасти Оркуса, куда обрушиваются волны мирового Океаноса, кончается жизнь даже в самых ее фантастических формах. Но до границ Оркуса (Тартара), на бесконечной поверхности Океаноса, биологические виды необычайно разнообразны. Нарратор рассказа «Рукопись, найденная в бутылке» попал в ситуацию сугубо трагическую. Если бы гигантский корабль прошел по краю бездны, всё могло случиться иначе — его отнесло бы к островам Антарктиды и далее к материку Таласса. На упомянутых картах Джона Келли этот необъятный материк простирается за Антарктидой в полную неизвестность, поскольку никаких координат в мировом Океаносе нет.

Более того: по Келли и Ди на берегах Талассы кончается старая жизнь (в привычном значении слова) и начинается новая, следующая за «смертью» или, точнее говоря, за периодом глубокого обморока. Эдгар По несколько иначе трактует эту проблему. В «Сообщении Артура Гордона Пима» граница старой и новой жизни проходит недалеко от Антарктиды — судно А.Г.Пима вступает в инобытие после встречи с кораблем мертвецов: «Никого не видно было на палубе, пока мы не приблизились на расстояние в четверть мили. Тогда показались трое моряков — голландцев, судя по платью. Двое лежали на кватердеке на старом парусе, а третий стоял у бушприта, наклонясь вперед, и глядел на нас с любопытством. Крепкий, высокий, кожа очень темная. Он, казалось, призывал нас не терять бодрости, монотонно кивал и постоянно улыбался, обнажая ослепительные зубы. Его красный фланелевый берет неожиданно упал в воду, но моряк, не обратив внимания, продолжал кивать и улыбаться.» Пока А.Г.Пим и его спутники возносили хвалу за близкое спасение, с корабля пошел ток чудовищной трупной вони. Черный бриг остался позади, только большая белая чайка взлетела с плеча моряка у бушприта — он кивал головой под ударами острого клюва птицы, пожирившей мертвую плоть.

После разных мытарств в пустынном океане, А.Г.Пима и его оставшегося в живых спутника Питера подбирает шхуна «Джен» под командой капитана Гая. Станный меланхоличный капитан и его молчаливые матросы словно бы нехотя, словно бы во сне совершают смутный южный рейс. Похоже, они утратили главные качества земной жизни — целесообразность собственного бытия, перспективу новых открытий, ожидание какого-либо будущего. Похоже, им чужды элементарные человеческие желания. На вопросы А. Г. Пима касательно его происхождения и цели экспедиции, капитан Гай отвечает раздраженно и невпопад. Однако, несмотря на стремление избежать объяснений, он неуклонно направляет шхуну к югу. Миновав обозначенные на картах острова принца Эдуарда, Крозе, Кергелена, шхуна пересекает антарктический круг, исчезая в медлительной неведомости, где иногда среди ледяных полей возникала причудливая фауна: белый медведь пятнадцати футов ростом с кроваво-красными глазами, грызун фута три длиной, покрытый совершенно белыми шелковистыми волосами, с когтями и зубами коралловой субстанции, пингвины, тающие в воде до костей и т. п.

Проблематичное инобытие проступает альбиносами, недвижимой тревожной тишиной,

айсбергами, которые распадаются живыми, агрессивными кусками льда и набрасываются на тяжелые низкие тучи, снегом цвета лепры и неестественными колоритами в туманном почти прозрачном веществе «земле-воды». В отличие от обычного относительного покоя, космические элементы здесь живут интенсивной жизнью. Капитан Гай в необозримой чуждости этих пространств перестает отмечать дни и координаты, ибо сомнамбулическая атмосфера всякий помысел и всякую инициативу растворяет в безразличие. Сие обнаруживается при встрече с дикарями — низкорослыми безобразными людьми с черными зубами. Капитан Гай не обращает на них внимания, потом неожиданно пропадает со шхуной и экипажем — будто все они перешли в другой сон. Артур Гордон Пим и его спутник Питер остаются одни в ужасной ситуации. Им удается убежать от дикарей, но не от голода и жажды. Неожиданно они находят ручей весьма странного вида: «Жидкость струилась лениво и тягуче, словно в простую воду вылили гуммиарабик. Эта вода прозрачная, но не бесцветная, переливалась всеми оттенками пурпурного шелка. И вот почему: вода слоилась, словно распадаясь минеральными венами, и каждая фасета светилась своим колоритом. Лезвие ножа наискось рассекало эти вены, но они тотчас стекались. Если же лезвие аккуратно скользило меж двух вен, они смыкались не сразу.»

(Это весьма точное описание редкостной алхимической субстанции, известной адептам как «белый меркурий», хотя имен у нее предостаточно: «вода, которая не смачивает рук», «гумми мудрых мастеров», «наша Диана», «девственное серебро», «молоко девы» и т. д. Это *materia prima*, женская субстанция в чистом виде, не затронутая действием формы. Она устраняет любые дефекты любой композиции и обладает многими удивительными свойствами.)

Но странности чуждого пейзажа на этом не кончаются. А.Г.Пим и его спутник продвигаются в самое сердце Антарктиды: «Беспредельный водопад бесшумно ниспадал в море с какого-то далекого горного хребта, темная завеса затянула весь южный горизонт. Беззвучие, угрюмая тишина. Яркое сияние вздымалось из молочной глубины океана, сверху падал густой синий пепел, растворяясь в воде... Только ослепительность водопада проступала во тьме все более плотной. Гигантские мертвенно-белые птицы врывались в густую темную завесу с криками „текелили“. Нас неотвратимо несло в бездну водопада. И тут на нашем пути восстала закутанная в саван человеческая фигура — ее размеры намного превышали обычные, ее кожа была белей всякой белизны.»

Итак, согласно Эдгару По, Антарктида — страна смерти или инобытия: после встречи с кораблем мертвецов вояж А.Г.Пима свершается по направлению к закутанной в саван фигуре. Удивляет пассивность нарратора и других персонажей — они безвольно плывут неизвестно куда, бесстрастно отмечая любопытные, даже ошеломительные частности новой страны. Похоже, люди вовсе не являются героями в драме белизны. Диапазон белизны расширяется от жизни к смерти, от белого, таящего любые цвета, до абсолютной стерильности ледяных торосов, от блистающего снега до проблематичной синевы пепла и лепроидных ядовитых грибов, от бледных, ломких от холода змей до мертвенно-белых птиц...

Но для магической географии, строго рассуждая, не существует жизни и смерти как полярно противоположных понятий. Убывание биологической активности за сороковым градусом южной широты свидетельствует только о возрастании инобытия. Концепция единого Бога лишена всякого смысла в бесконечности Океаноса, вернее, подобная концепция ведет к тотальному пессимизму и негативному первоединому:

Я искал Божье Око и увидел

Орбиту черную и бездонную,

Там излучалась ночь, постоянно концентрируясь.

Странная радуга окружала этот провал

В Древний Хаос, эту спираль,

Пожирающую Миры и Дни.

В этих строках французского поэта Жерара де Нерваля чувствуется дыхание абсолютного божества — смерти, абсолютного нуля. «Жизнь — только изъян в кристалле небытия.» (Поль Валери) Вместо бурной духовной экспансии — равномерное материальное сжатие, беспощадная абсорбция, вместо избытка — лишенность, вместо расточения — беспрерывная консумация. Ночь излучается, дабы сжать, захватить, концентрировать, уничтожить все более скудные проблески света и жизни, которая постепенно превращается в жалкую пародию на саму себя.

Мы начали с печальной судьбы корабля «Арго» и загадочности «золотого руна». Разнообразные гипотезы не выдерживают критики. Да и надо ли разгадывать эту загадку? Решение одной тайны порождает массу других тайн. Вечная неизвестность будит вечный искус, вечную энергию. В магической географии, как и в алхимии, неизвестное озаряется более неизвестным.

Человек и его горизонт

Привыкнуть можно к вещам знакомым, без которых нельзя обойтись или потеря которых оставляет крайне-досадливое ощущение в душе. Неприятно увидеть за своим письменным столом незнакомый стул, неприятно, когда на колени вспрыгивает годами знакомый кот и

что-то, в знакомой, весомой тяжести, в характерном болезненном царапанье оставляет ощущение неуловимой чуждости и даже скрытности. Даже если это нелюбимый кот, в его

нелюбимости ощущается нечто привычное. Можно носить лет двадцать один и тот же пиджак, чувствуя его либо талисманом, либо дорогим родственником, либо «магическим помощником». Примеров такого рода — тьма, да и непредставимо, чтоб их не было. Даже у первобытного человека нашлись бы любимый лук, любимое копье, любимый камень. Очень часто пристрастия, любимые звери, травы, цветы, запахи, аккорды, переливы любимых мехов и материй говорят о человеке больше, нежели черты лица, характерные интонации или манера смеяться.

Аналогично следует сказать о неприязни, антипатии и даже аверсиях по отношению к очень многим вещам, зачастую совершенно необъяснимых. Однажды прохожий швырнул комком грязи в лицо красивой женщины, не обернулся и вообще никак не среагировал на ее возмущенное поведение; в другой раз пожилой мужчина одышливо гнался за пуделем, что резвился на морском берегу. Он гнался, насколько позволяла ему комплекция, гнался отнюдь не из желания позабавиться, а просто и откровенно убить. Такие казусы любят объяснять психологи, но их объяснения тяготеют к простодушным либо терминологически слишком запутанным толкованиям. Вообще психологи и философы любят ограждать себя и других вербальным барьером — создается впечатление, что мир и есть этот барьер, до предела запутывающий реальность. И что такое реальность?

Это огромные металлургические заводы, где царит постоянный грохот; автомобильные свалки, где гидравлические прессы меняют иногда один хаотический интерьер на еще более хаотический; гигантские шахты, глубина которых неизмерима; чудовищные динамические артерии, тянущиеся на десятки и сотни километров на земле и под землей и на тысячи километров над землей; гигантские песчаные и каменные карьеры — и над всем этим необозримая паутина электропроводов. Это беглый набросок реальности, вернее, технической цивилизации.

Все это создано много за двести лет поколениями наших предков. Поразительно, если учесть сколько среди них было лентяев, пьяниц, безумцев, воинов, мечтателей, фантастов, священников. Поразительно, если все это можно объяснить ненасытным любопытством ученых, энтузиазмом инженеров, неустанной деловитостью рабочих масс. Да и что все это такое? Ведет ли все это к материальному и моральному улучшению жизни, к подъему искусства, к новому аспекту человеческих отношений? Нет. Люди не изменились ни физически, ни эстетически, ни морально. Более того: произошла странная подмена ценностей: творческая культура сменилась интерпретаторской, раздробившись на десятки направлений; религия уступила место слюнвятому гуманизму; призывы к лучшей жизни обернулись демагогией с юмористическим оттенком и т. д. и т. п. Простой труд и простые занятия забыты. Только, когда функционер у себя на даче рубит деревья, пилит дрова, вставляет стекла или ходит за коровой, на его лице мелькает самодовольная усмешка типа «знай наших» или «есть еще порох в пороховнице», усмешка, которая моментально вытягивается при звонке мобильного телефона.

Нелепо говорить, что мир — один. Он таков, условно говоря, для историка или географа, «условно», потому что для тех и других в принципе существуют параллельные миры. Да и то, вряд ли найдется проблема, едино решаемая двумя историками или географами. Первый будет всю жизнь оспаривать существование Трои, второй никогда не поверит в наличие «окапи» (нечто среднее между антилопой и оленем). Даже специалисты в одной области редко сойдутся во мнениях.

И потом. Для широко видящих «гуманитариев» найдется немало загадок, куда не кинь взгляд: это не только пресловутое «взошел ли Парис на ложе Елены», а например: существовала Атлантида или нет, почему Наполеон проиграл битву при Ватерлоо, а Веллингтон больше не выиграл ни одного значительного сражения и прочее. Из этого «и прочего», в сущности, и состоит содержание истории. Похоже, и будет состоять.

Но такова задача каждого будущего поколения, ибо каждый знает, что история, независимо от близости или дальности события, собирается из неразрешимых проблем. Одержимый находкой очередного документа, юноша экстаично сообщает о новизне того или иного казуса, но... постепенно глаза темнеют, волосы седеют: либо грызут собственные сомнения, либо

кто-то нашел еще один документ, рукопись, словом,

ключик к завлекательной проблеме. И так без конца.

События, свершения, катастрофы, успехи таковыми не являются. Подобно калейдоскопу, комбинация каждый раз иная. Но в отличие от механической игрушки, при каждом обращении появляется новый элемент, путающий с трудом найденные закономерности. Так, между «или — или». «да и нет», «то, да не совсем то», «если пренебречь условностями», «предположим, что», и прочей боязливой амбивалентностью проходит наша жизнь. Ее нельзя назвать жизнью в смысле жизнеутверждения реалистов, напротив. Последнее — нечто мягкое, уверенное и теплое, подобное норе бурундука, и многие стремятся к такой норе, но если есть голова на плечах, любой человек в той или иной мере становится

мифоманом.

Это означает: понятие

реальности отвергается вообще — сказать «более или менее реально» нельзя, поскольку «реальность», как имя существительное, где-то утверждается, хотя бы в непостижимой, наидалекой дали, хотя бы в конфигурации прихотливых облаков — правда большинство предпочитает нечто более осязательное. Но когда говорят «привиделось», «послышалось», «почудилось», то утверждают справедливо, ибо подобное единственно правильно. Когда живописец навязывает свое чувство прекрасного постороннему глазу, он несколько не трансформирует пейзаж, а просто экстраполирует свое впечатление. Он придает максимум экспрессии; изображая «голову Крестителя» или «Кораблекрушение среди айсбергов», он акцентирует события среди других, считая, что это важнее автомобильной аварии, хотя для многих последняя куда важнее первых.

Итак: каждый человек — мифоман и окружен горизонтом своей мифомании. Это естественно — каждый человек окружен своим собственным миром. Только он настолько привык делить его с другими, участвовать в жизни других, что считает этот мир — общим. Более того, он считает, что каждый ощущает его общим, что боль или радость жителя Конго в какой-то мере относится ко всем. Да, каждый видит определенное своеобразие в вещах, но в общем и целом все видят небрежно одинаково — никто не примет автобус за зубную щетку, а сосну за вишню. Здесь центральный нерв нашего рассуждения. Сумасшедший или дикарь еще могут перепутать автобус с телегой, но нормальный человек никогда не спутает самолет с детской коляской. Никогда не видя леса, он может собирать яблоки с березы, но легкое указание исправит его от будущей ошибки. Удивительно: люди будут яростно спорить о форме колеса или прочности моста, но им в голову не придет, почему, скажем, за лесом следует степь, а за степью море или почему эвкалипт гладкий и стройный, а чертополох терпеть не может ночных бабочек.

Конечно, ботаник объяснит нам про чертополох, но в его объяснении всегда останется диссонанс, привкус неудовлетворенности. Чтобы

понять, надо не только понять всеми пятью чувствами, но и почувствовать то, что не дано: враждебную среду, которую создают чертополох и ночная бабочка. У этой среды нет законов, она естественна, как водяная лилия или морской змей. Но почему лилия и морской змей? Один единственный вопрос рождает неизмеримость вопросов. Или, к примеру, почему ёж покрыт колючками? Неужели только для самозащиты? Маловероятно. Быть может, его колючки составляют множество антенн для немислимого восприятия внешнего мира? Но

как он его воспринимает? Вопросы и вопросы. Бесплезные, нелепые, неизбежные. Итак, люди делятся на

мифоманов и энтузиастов. Первые разводят руками и в ответ на всё произносят загадочные слова: «бог», «природа». Другие скорее для красного словца щеголяют этими высокими понятиями. Они верят в многочуждое — не жалея трудов, сие многочуждое необходимо изучить, освоить, употребить на пользу своих ближних. Не ближних вообще — среди них попадаются крайне неприятные субъекты, а ради людей, ради спорного понятия

человечества. Потому что

мифоманы ценят далекое прошлое вообще и собственное прошлое в частности. Они с одинаковым интересом рассматривают фотографии древних храмов и своих старинных предков. Люди прошлого интересуют их не как «трудовые единицы», но своим колоритным своеобразием. Инженер изучает фотографию нового трактора с точки зрения дальнейших усовершенств, которые можно и нужно внести в данную машину, весьма поверхностно взглянув на конструктора. Люди его мало интересуют, потому что за ними — прошлое, а за

машинами — будущее. Причем любопытно: если каких-нибудь несколько десятилетий назад изобретателям не отказывали в определенной «гениальности», то сейчас просто «уважают» способного техника, умелого рабочего, «мыслящего» инженера. Слово «гениальный» ныне относится к умершему, пока довольно короткая память о нем еще жива. Главное сейчас — многообещающая конструкция, а не талантливые люди, которые всегда найдутся — не здесь, так в Китае, не в Китае, так на Соломоновых островах.

Нет, речь сейчас идет не о «повзрослевшем», а о новом «человечестве». Интересно, что люди новой формации не отличаются ни проницательностью, ни дальновидностью. Грандиозные планы постоянно требуют все новых ресурсов, а где их взять? Внутренности планеты истощаются, пополнить их нечем. Очень проблематично, чтобы Луна, Марс, Венера, знакомство с которыми более чем приблизительно, услужливо предложили свои «энергоресурсы». И такого рода вопросы волнуют больше

мифоманов, озабоченных пропажей и разрушением великих памятников древности, или гуманистов, дрожащих над судьбой рода человеческого, но вовсе не энтузиастов. Последние полагают: случаются энергетические кризисы, но, в конце концов, находится выход из положения, а потому надо работать дальше — изобретать, умножать, преобразовывать. Их закон — бесконечность, не терпит ни малейшей остановки на непрерывном пути, как ступальная лестница в Англии (вид наказания в восемнадцатом веке) не давала остановиться каторжнику во избежание жестоких травм.

Это крайне антигуманное (в старом смысле слова) отношение к людям неизбежно расцветает в нашу эпоху. Вот к чему привела бесконечная жажда знания и реализация этих знаний.

Энтузиастов насыщает бесконечность,

мифоманов — ограниченность горизонта. Каждый человек окружен изначально кругом собственной мудрости — жалкой или изобильной — неважно. Всё остальное — случайные либо благоприобретенные знания. Они увеличиваются, уменьшаются, забываются, уплотняются, но так или иначе высыхают, отпадают, их отбрасывают за ненадобностью — в любом случае они не прививаются к живому организму индивидуальной человеческой жизни. У хорошего вора отмычка сама знает свои проблемы — рука управляет ею бессознательно, едва заметными движениями, ее не надо «изучать» в отличие от сложного сейфового ключа. Такую же сноровку нищий демонстрирует на свалке — беглого взгляда достаточно, чтобы оценить достоинства и дефекты этого...конгломерата. Любитель живописи, услышав характерный треск падающего дерева, сразу чувствует гулкую объемность и шумное дыхание

масштабности лесной чащи так же как поэт ощущает качество стихотворения, еще не приступая к сочинению.

Мифоманы не верят и не понимают выученного, освоенного знания, которое можно забывать, совершенствовать, учить по книгам, проверять по лекциям. Его можно потерять как перочинный нож или рюкзак. Человек должен владеть своим знанием как рукой или ногой, оно должно быть присуще ему как улыбка или цвет волос. Как только он начинает разбрасываться в

поисках, он теряет свою уникальность, обретая незнакомые черты на минуту привлекательного, но в принципе чуждого субъекта. «Пусть я нищий, — сказал французский поэт Поль Валери, — но я король над своими обезьянами и попугаями».

Похоже, эпоха

мифомании, прошла окончательно, оставив несколько элементарных

хобби и увлечений людям, озабоченным препровождением досуга. Это касается

примитивов (в широком смысле), людей, наделенных умелыми руками и особым вниманием, для которых нет пустяков и вещей, отброшенных за ненадобностью, людей, не склонных к тщеславию и привязанных к молчаливому незаметному труду.

У них нет мировоззрения в современном смысле, нет представления о вселенной в современном смысле, нет понятий о времени и пространстве опять же в современном смысле. Солнце, луна и звезды близки им до прикосновения руки, до мягкой шелковистости зверя, до задушевности дружеской беседы у костра.

Зачем этим случайно выжившим изгоям непрерывная книжная учеба и бесконечный поиск энтузиастов?

Мифомания

Современный миф

Миф — силовая линия, по которой направляется любое бытие: одуванчика, слона, скоростного поезда, прибрежного утеса и т. д. И, разумеется, человека, сколько бы он не рассуждал о свободе воли. Это не исключает случайных обстоятельств, стихийных потрясений, безумия, врагов, благодетелей, болезни, смерти и прочего. В общем смысле эта силовая линия незримо и неслышно определяет бытие космоса и природы в данную эпоху. Как только она меняется, «определение бытия» и всех его параметров принимает другие термины и другие качества. При «великом Пане» и других греческих богах шла одна силовая линия; при Перикле — другая, при императоре Тиберии — третья, при Наполеоне — четвертая. Мифическое понимание «силовых линий» исключает историю как причинно-следственную последовательность, искажаемую зачастую молниями катастроф. Равным образом исключает оно смысловое содержание человеческой жизни и целесообразность бытия. Если бы мы знали жизнь бушменов третьего века, это не обогатило и не обеднило бы нашего представления о человечестве. Если бы, напротив, бушмены знали законы Ньютона, это не улучшило бы хитроумия их ловушек или качества их ядов. Каждое племя, каждый народ живет по своим обычаям, обусловленными массой национальных, видовых, родовых особенностей, составляющих многокрасочную панораму «фольклорного человечества». Последнее как жило, так и живет: политеизм, культ предков, охота и рыбная ловля, традиционные ремесла. Колдуны племени «аомба» (берег западной Африки) как заклинали подводные созвездия, так и продолжают свое занятие, хотя некоторые из них учились в европейских университетах. Языки, культуры, обычаи примитивных племен и народов со второй половины двадцатого века изучают этнографы, приумножая бесполезные знания белых людей, которые полностью завладели земным шаром.

Почему так получилось? Потому что переменялся миф европейцев, потому что силовая линия европейского бытия ушла в немислимую сторону. Еще Перикл признавал «божественными» идеи Платона — они и до сих пор звучат привлекательно в изложении неоплатоника Прокла: трансцендентальным миром души управляют пять светочей: благо, гармония, красота, справедливость, умеренность. Эти слова с течением веков становятся всё

менее понятны, но даже сейчас никто не будет отрицать их нравственного величия. Но.

Идеи Платона не имеют отношения к моральному поведению человека в обществе. Это качества души. А сейчас не имеют представления, что понималось под «душой» во времена Платона. Посвящение в «душу» происходило в мистериях, а не сводилось к формальному религиозному обряду. Душа при желании может приобщиться к какой-нибудь религии, поскольку последняя не противоречит ее стремлениям, но в принципе у нее свой метафизический мир.

Душа в античном смысле совершенно ровно относится к существам реально-физического пространства. Драконы, нимфы, великаны, скалы, растения и звери отличаются друг от друга только своими особенностями и ситуацией в мире. У них своя жизнь и свой язык. Индивидуальная душа, избравшая в процессе мистерии то или иное существо (не исключая человека) легко и быстро осваивает чужеродные языки и обычаи. Скажем, нимфа-дриада погибает вместе с деревом, в котором она живет: душе ничего не стоит переселиться в другое дерево и познать жизнь другой нимфы. Какие у нее для того основания, почему она так делает — недоступно человеческому разуму: если душа знает язык человека, то обратное дано редким мудрецам и мечтателям.

Можно без конца рассказывать о субстанциях, формах, качествах, характерах души в античном мировоззрении. Но беда в том, что античная душа открывается чувствам, предчувствиям, фантазиям, но не разуму. В последнем, за ненужностью, никто особо не нуждался, кроме охотника в лесу да строителя государства с его храмами, жилыми домами, кораблями, воинами и т. д. Понятие об античной душе осталось только в искусстве, легендах и сказках. Когда мы читаем строки Н. С. Гумилева:

Я читаю стихи драконам,

Водопадам и облакам.

...нас трогают эти стихи, хотя мы понимаем невозможность подобных слушателей. Если бы античный читатель несколько бы не удивился правде подобных строк, то мы несколько не удивляемся праву поэта на

условность. В Древней Греции с удовольствием читали, как богиня Гера обратилась в облако и в таком виде зачала кентавров от царя Иксиона. С тех пор кентавры медленно спускаются с неба белыми и розовыми облаками, но их можно хорошо увидеть, испросив у бога Пана остроты зрения. Правда, Пан избегает людей и несколько не старается им помогать. В стихотворениях Феокрита о Пане бог недоумевает, кем и зачем созданы эти существа — ленивые и трудолюбивые, равнодушные и мстительные, жадные и гневные. Пан полагает, что это дети матери-земли — на манер титанов они ценят ежедневную работу, любят дары богов, но ненавидят за беззаботность и веселую жизнь. В «Пророчествах Пана» Архилоха высказаны вещие слова: богам скоро надоеет человеческая лживость и неблагодарность, они покинут людей матери-земле или бросят в Тартар к их собратьям титанам. Мы можем только угадывать судьбу людей, поскольку письменные источники, оставшиеся от античности, лишены достоверности. Во-первых, они переписаны сотни раз, во-вторых, неизвестно, кто приложил руку к подобной переписке. С таким же успехом следует судить о судьбе Атлантиды. Но люди забыли о душе и предались разуму — таков вывод «пророчества» Пана. Много веков спустя Декарт пришел к весьма справедливому мнению касательно природы разума, поделив существующее на *res cognitas* и *res extensa*, то есть «вещи познающие» и «вещи внешние». К первым относится только человек, к последним — всё остальное. Это значит: всё остальное — растения, минералы, животные — подлежат использованию и

эксплуатации. Но если во времена Декарта (семнадцатый век) подобное использование носило сдержанный характер, то далее, в связи с неслыханным развитием техники, познающая агрессия против матери-земли обрела чудовищные формы. Люди усвоили повадки титанов, доказав, что боги всегда были им чужды. Постоянная работа по кругу, аннигиляция пространства в пользу времени, жестокость и несправедливость ради материального богатства, планомерное уничтожение земли ради целесообразности смерти. (В эпоху античности смерть физического тела была рядовым событием, мимолетной тучей, заслоняющей солнце.) Из жизни ушла душа — искусное целое, гармонически составленное из четырех космических элементов, душа, не уступающая разложению, свободная в своих сложных движениях, уникальная в своих метаморфозах, чувствующая себя одинаково в воздушной стихии фантазии, странных призраках гигантских морских глубин и среди исполинских чудовищ матери-земли.

Мы говорили вначале о силовой линии, направляющей ту или иную эпоху. Нашу эпоху определяют смерть и разум. В античное время некоторые герои — Одиссей, Геракл, Тезей — могли опускаться в преддверие смерти (Аид) и благополучно возвратиться обратно. Но за бездонными глубинами Аида начинается пространство, в которое нелегко попасть и откуда нельзя вернуться. Это Тартар, местопребывание титанов, побежденных богами, отделенное от Аида раскаленной решеткой. Здесь живет смерть, здесь царство злых иллюзий и бесконечной работы. Сейчас человек анимирован чем угодно — заботой, надеждой, мечтой, а главное — разумом.

Основные качества разума — любопытство и подозрительность. Как вещь детально устроена, не скрывается ли ловушка под березовой веткой на лесной тропинке, не опасен ли идущий позади человек? Пистолет выдается за игрушечный, булавка с виду невинна, пудра пахнет приятно. Так. Но вдруг пистолет настоящий, булавка отравлена, пудра — ядовита! Но не всё так плохо на этом свете! Блестящая безделушка в пыли на дороге может оказаться золотым украшением, лучший друг может залезть в карман и оставить там кошелек, неказистая вывеска на углу может скрывать отлично оплачиваемую работу. На свете много чего находится и случается, необходимо только обладать хитростью, умением и хорошей ориентацией, дабы не пребывать в молодости в дураках, а в старости — в доме престарелых. Мир непознаваем — ну и черт с ним, звезды либо блестящие точки, либо светила в неслыханной высоте, либо яркие узлы тартаровой решетки — какое это имеет значение? Любопытство — вещь двусмысленная. Хорошо угадать карты партнера, выигрышный лотерейный билет, подлинный алмаз в куче бижутерии, но совсем другое дело — за грошовую зарплату копаться во внутренностях человека и зверя, ломать голову над математическим уравнением, открывать новую планету, составлять спасительное лекарство (как будто и без него людей мало) и т. д. и т. п. Разум — дело тонкое, им может обладать отпетый дурак. Речь, следовательно, идет об установке границ, о самонахождении в любой ситуации, о сообразительности в запутанных случаях, словом о жизненном разуме. Еще совсем недавно более или менее искренне рассуждали о пагубной, безответной любви, о героизме, о космических пришельцах, о снежном человеке, о людях, доживших до ста пятидесяти лет, о первобытных создателях роботов, о мятеже зомби, о смерти солнца. Если ранее большинство подобных гипотез принимались за бред, то сейчас положение изменилось. Жизненный разум заранее со всем согласен, что напоминает строки французского поэта-сюрреалиста Робера Десноса:

муравей щеголяет в цирке вертит бревно

беседует по-французски и по-китайски

а почему бы и нет...

...или близкого к сюрреализму Анри Мишо:

клиент напротив мне сразу не понравился

я накрошил его в тарелку

полил горячим чаем и крикнул официанту

я же просил мороженого...

Юмор? Гротеск? Истина? Всё — разом и еще много чего. Смерть поставила предел любому познанию и раздвоила людей: одни торопятся, не спят ночами, дабы решить важную проблему; другие, уяснив бесполезность жизни, скинув нацепленную обществом маску озабоченности, желают основательно продумать неизвестно кем и зачем отпущенный жизненный срок и приходят к идее жизненного разума. Необходимо спокойствие, денежное содержание, толерантность к словам и поступкам других. Если современному немецкому поэту Францу Мону вздумалось написать:

разговаривая со своими карманами

в поисках грошей на пиво

пальцы Йоши известные склочники

разорвали карманы на куски

и пошли бродить по супермаркету...

...то возможно Франц Мон заработает на пиво. Деловой человек, правда, посоветует ему взяться за отбойный молоток, ручку лопаты или влезть на трибуну, громко призывая к полету на Сатурн. На худой конец предложит сочинить диссертацию о Гете. Но у современной эпохи есть один существенный признак: здесь всегда найдутся рабочие, специалисты, демагоги, диссертанты. Здесь всегда найдутся катастрофисты, утописты, зазывалы. Власть массы всегда отличается повышенной идеологизированностью. Восстание масс победило, с этим нельзя не считаться. Это означает совершенное равнодушие к мировоззрению: философия, материализм, идеализм, онтология, наука вообще — никчемная чепуха. Техника, ее достижения, ее триумф — вот ради чего стоит жить. Она дает

комфорт, драгоценно-удобные условия бытия, который не знали наши предки. Правда, при этом она уничтожает растительность, благоприятный климат, превращает черт знает во что нашу планету, но...после нас хоть потоп. Жизненный разум ради собственной безопасности повелевает нам

делать вид, что всё прекрасно, что технический прогресс — величайшее достижение человечества, хотя сие сомнительно в высшей степени. Но высказывать в наше время оригинальное суждение — глупо и напрасно. Собственность должна оставаться скрытой. Как заметил современный немецкий писатель Фридрих Георг Юнгер в «Совершенстве техники»:

«Я остаюсь собственником, если у меня есть собственные мысли и если я отказываюсь механически принимать способ мышления коллектива.»

Жить стало намного опасней, нежели сто лет назад. Планомерная эксплуатация земли и людей, утилитарный функционализм, техническая рациональность подавили духовную самостоятельность. «Всё инстинктивное, темное в человеке, его смутные волевые порывы и путаница мыслей не побеждаются, а только усиливаются. Система организации, которая стремится подмять под себя всё, не имеет никаких средств для обуздания этого темного царства. Никакой технический разум не способен остановить нарастание слепой стихийности, напротив, технический разум открывает перед ней дорогу для проникновения и распространения в жизни». (Ф. Г. Юнгер.) Действительно, страх, неуверенность, паника, иррациональность приобрели в современном мире необычайные масштабы. Тартар дает себя знать, хотя он нашел себе прибежище главным образом в кинематографе и на телевидении. Утопия так давно превратилась в антиутопию, что каждый готов поверить в любой апокалиптический кошмар, только не в светлое будущее. Землетрясения, цунами, гибель пароходов, крушение поездов, падение самолетов, терроризм — тривиальная реальность наших дней. Причем всё это происходит на фоне беспросветной скуки бытия. Высокий уровень техники способен увеличить скорость, сократить расстояния, улучшить гигиену, но ни на йоту не может придать жизни занимательности и веселости. Электронные аттракционы, куклы, игры не вызывают ничего кроме инерции, скуки и уныния. Из слов выветрился смысл, что лишает всякую речь даже намек на серьезность. Только искусный мастер жестикюляции, интонаций, пауз может надеяться на мимолетную популярность как демагог и актер. От невыносимой скуки, непрерывных обманов и надувательств, от всесилья техники, от явного презрения, показного человеколюбия или трафаретных обещаний кем-то и зачем-то поставленного начальства люди постепенно сходят с ума. Хотя последнее признается при очевидно неадекватном поведении. Как правило, даже самый тяжелый психический недуг находит объяснение у психоаналитиков или специалистов по глубинной психологии. Потому что, утратив понятие о душе, ученые находят «душевное» в подсознательном и бессознательном, в галлюцинациях естественных и спровоцированных, в любых иррациональных пейзажах, в любых старинных рисунках и надписях «магического» характера. Йога, дао, вуду, зачастую в совершенно неузнаваемом виде, подвергнутые «научной» обработке, находят у массы восторженный прием. Если народ — индивиды или группы, объединенные общим языком, религией, ремеслами, праздниками, культурными ценностями, то масса — нервный, легко возбудимый людской поток, готовый повиноваться любым притяжениям, слушать любого горлана, при первом энергичном призыве разрушать всё подряд, но боязливо рассеиваться при громком окрике случайного функционера в

форме. Человек массы, как правило, не видит сколько-нибудь интересных снов, его грезами руководят специалисты по видениям. Любой аляповатый бред, выданный за очевидную реальность, подтвержденный слухами или парой пьяных свидетелей, находят общее сочувствие. Это напоминает оживленный разговор двух купчих в пьесе Островского, как «наш царь собирается на войну с белым арапом». Если же солидный господин в дорогом костюме, поблескивая перстнем на пухлой руке, рассуждает о трехметровых обитателях НЛО или о чудовище озера Лохнесс, а, в ответ на удивление слушателей, начинает высокомерно тянуть: «Как вам сказать? Наука признает только факты, хотя и не отрицает остроумных гипотез... К тому же, друг мой Горацио...» или вставит: «Платон мне друг, но истина, истина...», — такой субъект вызовет почтительное внимание.

Как механизм не может работать без заимствованной энергии и неустанной заботы, так и современный человек не может обойтись без чужих мнений (информации) и постоянного патронажа. Если ранее честолюбцы относились к соотечественникам как к людям взрослым, имеющим собственные взгляды на жизнь, то сейчас задача властолюбивых резко изменилась. Достаточно обладать внушительным голосом, авторитетной интонацией, набором занятых игрушек, уверенных соблазнительных обещаний... и дело в шляпе.

Инфантилизм, панический страх при всяком угрожающем намеке власть имущих, дрожь перед грядущими катастрофами, ужас при реве гигантских машин, отравляющих, пожирающих, уничтожающих, но дающих

комфорт, почтение перед их кормильцами-миллиардерами, привычное, но боязливое ожидание неизбежной смерти — таковы силовые линии современного мифа.

Миф о семье

Чем больше пишут о них, тем загадочней они представляются. Если мы хорошо сознаем, что тело рождает одни, а душу совсем другие люди, существа, стихии — конфликты в жизни обостряются чрезвычайно. Это как-то сглаживается в отношениях с матерью, но конфронтация с отцом почти всегда неизбежна. Допустим, мать — баба грубая, необразованная, но сколь бы ей не были чужды наши интересы, ее легко усмирить теплотой и нежностью. Но вот просыпается похмельный отец, и мы застываем в гибельном предчувствии: сейчас начнется. Омерзительный с любой точки зрения, он неуклюже разыгрывает

ласковость: «В твои годы, сынок, я работал вроде каторжного, вкалывал по шестнадцать часов в день, чтобы добыть на кусок хлеба тебе...и матери. — О том, что меня тогда еще на свете не было (он поздно женился) понятно, забывал, хватал мою немецкую книгу, мусолил, отшвыривал и...начинал — Ох, водички что ли попить? Голова трещит, ужас!» Дать ему денег на похмельку? Послать к черту? Придумать запутанное объяснение? Да нет, здесь ничего не поможет. Ситуация совершенно безвыходная. Откажешь разок, другой и вместо пьяного угрюмого типа получишь обыкновенного монстра.

А вот отец другого плана. Предпочитает быть под пятой матери, умиротворяет, лебезит. Во-первых, «худой мир лучше доброй ссоры», во-вторых, как научному работнику, ему необходимы

условия. У него на работе и так не всё о'кей: его ненавидит Иван Иванович, секретно презирает Иван Абрамович, с проходом темы одни бугры да колдобины, возлюбленная Люба грозит сообщить жене...

За рюмкой вина отец расплывается: «Жаль ты парикмахер, а не космонавт. Я бы мог

такое тебе порассказать про нашу космонавтику! Но разве они ценят настоящих специалистов! Я в молодости по ночам вагоны разгружал» (они почему-то все в юности вагоны разгружали). Я расхрабрился: «А у нас сгорела парикмахерская от горячей завивки...»

Мать дала мне подзатыльник — слушай, мол, отца. «Правильно, сын, слушай! Отец плохому не научит! Я в пятнадцать лет уже решил уравнение Шницеля...или как его там...Мне бы академиком быть, а я всего лишь кандидат. — Он опустил голову в салат и заплакал. — А вообще-то я младогегельянец...» Он может нести эту околесицу, пока его, льстиво уговаривая, восхищаясь его гением, проклиная дураков сотрудников и всяческих лизоблюдов, не уложишь в кровать, как малое дитя. Утром он тщательно чистит туфли, отправляется к «возлюбленной Любе», бормоча: «Сегодня важное совещание», уходит вприпрыжку, сопровождаемый едкой улыбкой матери.

Она все знает и ненавидит,

он все знает и боится — так и проходят паскудные, лицемерные, продажные годы, вспыхивающие иногда фонтаном скандалов и букетами в дни рождений, юбилеев, похорон. Все это всем известно, ибо «скучно жить на этом свете, господа».

Случаются истории и позабавней. Один мой приятель сунул отца в бочку с дегтем и вызвал пожарную команду: другой постоянно наступал отцу на пятки и дождался удара ножом: третий-интриган ухитрился посадить мать в тюрьму и на свиданиях пел ей красиво и баритонально — не забуду мать родную: четвертый мой приятель получил почетную грамоту и нарисовал на ней дружескую встречу Ивана Грозного и Петра Великого с сыновьями...

Таких историй великое множество, и каждый может рассказать подобных минимум с десяток. Но проблема на самом деле весьма серьезна:

другие убедительно и самодовольно навязывают нам наш личный миф, в котором все — сомнительно. Почему надо верить, что эти кудрявые дяди и тети с наглой оравой требующих, поучающих, назидających, нападающих, ищущих денег и прав

статистов суть мои родители и родственники. Они хлопают меня по плечу, излагают какие-то поговорки, бредовые

жизненные истины, скабрзные анекдоты. Это еще ничего. Настроясь на торжественный лад, они славословят предков с георгиевскими крестами, золотыми медалями и сталинскими премиями. Я хочу покоя, ложусь спать, ссылаясь на головную боль. Не тут-то было. В комнату входит, садится на краешек постели плешивый толстяк в шелковой пижаме и рассказывает какие в нашей семье герои, в соседней — паразиты, в третьей — душегубцы. Последнее слово напоминает плоскогубцы. «Он что, — зеваю я, — свою внучку плоскогубцами придушил?» «Да ты нетрезвый, что ли?» «Пьяный как есть пьяный, — прошипела юркая старушонка, незаметно скользя в комнату, — от него вечно водкой разит, как от покойного отца. И вообще он... того.» «Так надо скорую вызвать, — захлопотал толстяк, — А то в одночасье и готов.» «Да там Шурка по телефону амурничает.» «Какая Шурка, надо человека спасать!»

Семейный вечер я закончил в больнице.

Ко мне явился плешивый толстяк в синем галифе и розовом пиджаке, скрипя сапогами, как натужная телега (мой двоюродный дядя), заохал, зацокал, просвистел «Землянку», сострил: «Ты вроде бьешься, как в тесной печурке огонь. Как оно, ничего? Да брат, перепугал ты всех!» Чтоб тебе, сволочь, сказать? «Дядя, когда греческий царь Иксион влюбился в богиню Геру, она превратилась в облако своих очертаний, а потом в осьминога. Потому-то я такой нервный, вертлявый, неуклюжий... Скажи ка, дядя, а ты видел уклюжих?» Дядя засопел, аккуратно поставил на столик пакет с макаронами, неожиданно мягко подкрался к врачу, заорал: «Клизму, почаще клизму, товарищ доктор. Говорят волшебное средство! Про Герку эту я слышал, она у нас лифтершей, а вот про царей этих, будь они неладны... сейчас вроде дозволено, а потом глядишь... и лагерь».

Потом притащилась тетя Ираида. Пока вынимала пакет с макаронами, все рассыпала по полу. Персонал оживленно хрустел макаронами, какой-то профессор поскользнулся и долго ползал под кроватями больных — искал потерянное пенсне. «А у тебя, я вижу, макароны уже есть, кушай, племянник, кушай, в них калорий много, а я пока своих насобираю, много ли мне, старухе, надо. А у нас новости!» — лопотала тетя Ираида, — Помнишь Семен Семеныча из аптеки? Ну который с перевернутым протезом. Так у него по пьянке протез стащили, Ходит, сердешный, деревяшкой стучит — тетя поучительно посмотрела на меня. Невольно поджав

ногу, я зачем-то пробормотал: «Протезы часто крадут». «А Зойку-то, воровку, с работы сняли. Так она теперь палкой с крюком по мусорным бакам шарит. Пьяная шляется пуще прежнего. Ну ладно, заболталась я, надо еще поймать Петровича, чтоб комод починил. А ты, Дима, помни, не к тому тебя мать в муках рожала, чтоб ты водку хлестал. Ну я днями еще загляну». И торопливо побежала, рассыпая из авоськи остатки макарон...

Господи, за что! Внутренний голос шепчет: очутиться бы со всей компанией на необитаемом острове, вот начнется песня! Как можно жить в липком климате взаимной зависти, подозрительности, скрытой враждебности? Если держаться уклончиво и вежливо — прослывешь гордецом, если стараться всем понравиться — обзовут подлизой. Не все ли равно. Да и можно ли назвать «семьей» группу случайных прохожих, вышедших из магазина или парка, с эскалатора или заводской проходной, объединенных сугубо материальными интересами, общими анекдотами и разрозненными знакомыми на протяжении пары десятков лет?

Семья должна иметь, прежде всего, традицию, этический стандарт и общего духовного предка. Только при таких условиях возможно это оригинальное соединение. И, прежде всего, семья должна быть патриархальна. Книга Бахофена «Материнское право» относится к очень отдаленному мифическому прошлому, ее отношение к современности сугубо сказочное. Люди меняются с каждым поколением, через десяток поколений их просто не узнать. Достаточно посмотреть фотографии начала двадцатого века и сравнить с современными — разница невероятная. Там

чувствуется традиция и

чувствуется семья. На современных изображениях лица ангажированы постоянными заботами, трудами, непрерывной спешкой, ожиданием неурядиц и неудач. И ясно, что так оно и будет. Радость — самая обыкновенная вещь в мире — опустилась до уровня выигрыша в лотерею или в игорном автомате. Страдание — до истерических воплей и мордобоя.

Когда я вернулся домой — застал новых жильцов. Петрович — знакомый тети Ираиды — решил сделать из комода «дворцовую мебель» и покрывал его скверной позолотой, которая мазала все и вся — даже плешь субъекта в синем галифе, что придавало ему вполне генеральский вид. Он сразу посуровел и ко мне более не приставал. Петрович соорудил в центре комнаты печку (иначе

отопление взорвет и затопит весь дом) приставил лесенку и поселил на печке свою бабку — он принимал ее за кошку и зачастую покрикивал «брысь». Бабка ночью распевала революционные песни и отличалась мужеством чрезвычайным: завывала «знают польские паны, знают псы-атаманы», свалилась в таз с грязным бельем и, как ни в чем не бывало, замыкала «как много девушек хороших». Петрович пришел в полный восторг и пригласил к нам жить двух баянистов. Синхронных баянистов: у одного была выбрита левая щека, у другого — правая; у одного бутылка водки торчала из левого кармана, у другого — из правого.

Отец с матерью ужасно перепугались прибавлению семьи. Мать горячо шептала отцу: «Вот соберешься утром на работу, а надеть нечего». Отец ее успокаивал: «Да это ФСБ. Свои ребята из пятого отдела». Но, тем не менее, старался улизнуть пораньше на работу. Вообще на него как-то перестали обращать внимания. Петрович даже спросил у матери: «А муженек ваш на фронте изволил пропасть? Так гнать надо этого дармоеда!» И выбросил пожитки отца в подъезд. Отец кричал, скандалил, кому-то жаловался, милицию приводил, наконец, получил срок и успокоился.

Петрович позолотил комод и стал начальником семьи. Мать шептала тете Ираиде: «Вот это мужчина! Не то что тот размазня. Ничего, в Мордовии из него человека сделают». Потом приревновала тетю Ираиду к Петровичу. Тот усмехался: «Тощие вы больно. Вот приведу Машку Самоквасову (он описал в воздухе нечто облако или ватообразное) — на всех хватит». В этот момент люстра в верхней квартире упала — кирпичи и штукатурка посыпались на бабу. Старуха ошалела, сняла кирпич со лба и заорала: «Раскинулось море широко». Баянисты залиvisto подхватили. Тут вошла Машка Самоквасова — нечто необъятное в цветастой юбке — и пустилась вприсядку. Баянисты перемигнулись и вытащили поллитровки. «Стоп, — цыкнула Машка, — я стирать пришла. Грязища-то несказанная!» Посрывала кофты да блузки с матери и тети Ираиды, стащила с генерала синее галифе и заплескала в корыте цветной водой. Баянисты пробовали ее пощипать — на совесть отделала их мокрой тряпкой. «Ты бы, Петрович, портрет какой принес для плезира», — щегольнула Машка иностранным словом. «Есть, Марья Тимофеевна», — козырнул Петрович и вышел, печатая шаг. Отсутствовал, примерно, час, принес красивый яркий портрет: «Подвинься, бабу, дыру в потолке заделаем, а то взяла моду под люстрой спать». «Кто ж такой будет?», — поинтересовалась мать. «Это не кто-нибудь, деревня, а сам Григорий Сковорода.» «И что ж ты будешь на нем жарить?», — приснула мать.

В это время слышались гулкие удары в наружную стену. «Ах ты, боже мой, — захопотал Петрович, — я же Ленку-шофера позвал ядром стены поразбивать, чтоб просторней было, семья-то, глядишь, прибавляется.» Действительно, падали жильцы верхней квартиры — люди, холодильники, диваны. Свалилась тетя Соня — подруга тети Ираиды — с настольной лампой и «Советской энциклопедией» и продолжала читать про падение Трои. «Что-то у вас Ираидочка, квартиры объединяют? Или землетрясение какое?» Баянисты прятали водку в чей-то холодильник — затеплела больно. «Включить бы надо», — шепнул один. «А ты помалкивай, — прошипел второй. — А то Машка заметит — беда». Но Машка занялась другим делом: вылила корыто, развесила мокрое белье на прищельцах, скинула компьютер, за которым храпел старичок в длинной шинели, на старичка навесила занавески, носки и ковер. «Хоть на человека похож стал, а то ни дать ни взять обалдуй с шарманкой. А теперь тебя в порядок приведу», — обратилась она к тете Соне. Облила ее водой из таза и принялась стирать вместе с энциклопедией. «Что вы, Маша, — зарыдала тетя Ираида, — ах Сонечка, Сонечка!» «Что Сонечка, Сонечка, — съязвила Машка, — я тебя спрашиваю, когда она в последний раз в баню ходила? А еще ученая...»

Пейзаж постепенно формировался: бабу на печке бросила петь и занялась штопкой чулка; генерал грозил мне пальцем «помни мол»: баянисты пили водку, спрятавшись в холодильник: маленькие девочки из соседних квартир прыгали в скакалки: взрослые парни басовито вскрикивали «рыба» и стучали домино: откуда-то приплелся инвалид об одном костыле и совал документы управдому: визгливая деваха проводила экскурсию по новому дому: Машка Самоквасова закончила стирку Сонечки и пошла за краской для ремонта. «Благодать, — вздохнул Петрович, — все на месте, все при деле, Теперь можно и газетку почитать. Ну-ка послушаем. Слушайте, все слушайте!» Он достал смятый листок из кармана и закричал: «Мировая победа». Печка развалилась, бабу продолжала штопать чулок. Баянисты вывалились из холодильника, накрылись баянами и захрапели. Генерал вытирал тетю Соню и рокотал комплименты. Машка красила потолок. Ленка-шофер доламывал дом. Петрович застучал кулаком,

Мировая победа

Ало-оранжевая медуза, вольготно раскинув складки, мирно плыла по мировому океану. (А что такое медуза, спросил генерал к тети Сони. Почем я знаю, фыркнула она, верно подлодка. А

может утюг. Генерал недовольно захлюпал носом.) «Тихо там, — заорал Петрович, — кому не нравится, помогайте Машке красить потолок.»

Спокойно плыла, держа на голове гарнир, тьфу, гартоль... (А что это за гартоль такая, спросила бабка, штопая чулок.) «Вылетишь из семьи, тогда узнаешь, старая гусыня!» — затопал ногами Петрович. Народ из разбитых квартир валился, хромя, цеплялся за бетонные искореженные плиты — всем хотелось послушать нового оратора. «Так вот, уважаемые члены улучшенной семьи, медуза держала на голове этот самый гартоль.»

В это время по берегу острова Таити прохаживался напудренный мистер Смит, потрясая отбойным молотком. Имел он, несомненно, коварные намерения. (Причем тут отбойный молоток, пробурчал пьяный баянист.) «А вот причем, — Петрович ловко подпрыгнул и выдал подзатыльник баянисту. — Тащи стремянку, Машке помогай! В семье нужна трудовая терапия.» На чем я остановился? Ах да. Поплевал мистер Смит на ладони и бросился за ненавистой медузой, стрекоча отбойным молотком. Не тут-то было — Петрович значительно поднял вверх указательный палец. Медуза обернула мистера своей красной простыней и потащила на дно морское. И объявила свободу народу медуз.

В напряженной тишине раздался чмок. Это тетя Ираида поцеловала Петровича. «А я-то, дура, такого праведника позвала комод чинить!» Здесь с потолка свалилась Машка Самоквасова, накрыла генерала своей цветастой юбкой и потащила в подвал. «И еще какой комод! Крем-брюле, а не комод. Вон генерал всю лысину позолотил!» Тут вбежал Ленька-шофер, отдал честь Петровичу и завопил: «Так что этот дом я разделал к чертовой матери, господин начальник! Какие дальнейшие будут указания?»

«Не торопись, Леня. А ты, старая, — кивнул он бабке с чулком, — поди поднеси водки герою. Указания, говоришь? Принимайся, Леня, за соседний дом. Простору, надо, простору! Ишь повозводили клетушек, вроде медведей устроились. Смотри, Леня, благодать какая!» Петрович плавно и широко повел рукой. По двору, среди обломков растерянно бродили испуганные жильцы, обвешанные полотенцами, одеялами и прочими тряпками: одни тащили сломанный шкаф, другие — с десятков венских стульев, перевязанных бархатной лентой, третьи — ворох пустых коробок. Посреди в вольтеровском кресле восседал участковый и курил трубку. «Да здравствует свободная семья на свободных просторах!» — орал Петрович.

Тетя Ираида неслышно подошла к нему и надела на голову новатора велюровую шляпу.

Миф о комфорте

Старый мир отличался полярностью: роскошь — нищета. Комфорта в современном смысле не знали. Можно по-разному организовать тепло, мягкость, уют, скорость передвижения и прочие необходимые элементы комфорта. Надеть соболя, дорогую кожу, бархат; украсить пальцы драгоценными камнями; купаться в мраморном бассейне, усыпанном редкими цветами, населенном экзотическими рыбами и птицами: ездить в хрустальном экипаже, наслаждаясь удивительными играми солнечного света, подобно мадам Помпадур. Недурной пример роскоши дан в «Трех мушкетерах» Александра Дюма: герцог Бекингэм идет к французскому королю, раздраженно срывая перчатки, обшитые редким жемчугом — жемчужины сыплются на паркет из розового дерева. «Мне удалось парочку подобрать, и я их продал по пятьдесят пистолей», — похвастался Портос.

Это надо иметь или... подобрать или нырять в море.

Весьма ограниченное число «сильных мира сего» и множество «малых сих». Христианство, акцентируя амбивалентность нищих и богатых, добродетели и порока, милосердия и скупости, хижин и дворцов, объявило вопиющим такое положение дел. В отличие от античности, душа трактовалась объединенной с телом, слитой с телом, живущей с телом одними интересами. Душа и тело воспитываются взаимно и согласно. Нельзя требовать от мягкого, ленивого, бессильного тела мужественной, требовательной, закаленной души. Христианство хочет отделить душу от тела, но задача эта очень непроста. Богатство не отпускает душу из своего плена; лохмотья, голод и язвы порождают зависть, возмущение и революцию, забирая душу в тиски. Памятуя о природном равенстве людей, необходимо добиться срединного результата — более или менее равного материального положения, которое избавит душу от телесного рабства и отпустит в «свободное плавание» — иначе христианское воспитание, кроме лицемерия и ненависти, никаких плодов не принесет. Ни богатых, ни бедных, но равных надобно христианству для исполнения первичной задачи. Люди должны пребывать в изначально

одинаковых условиях. Ни богатство, ни бедность, но элементарный комфорт может усмирить тело и открыть душу живоносным лучам христианского солнца. Эти лучи дают единственно светлое решение: распределить богатство поровну и, тем самым, искоренить нищету. Но есть и другое, еще более достойное Соломона решение: земля не имеет души, ее можно беспощадно эксплуатировать. Правильная эксплуатация земли навеки избавит человека от нищеты.

И поднялась над горизонтом звезда меланхолии — Сатурн с циркулем и угломером, которые обеспечили равенству его хищные синонимы: одинаковость, стандарт, шаблон. Оказалось, что без них комфорта не создать. Оказалось, что трамвай стоит намного дороже хрустальной кареты мадам Помпадур. Циркуль и угломер потянули за собой точность, внимательность, серьезность, постепенно породившие иное отношение к жизни.

Комфорт — это серьезно, очень серьезно. Правда, в истории комфорта случались и курьезы. Иван Никифорович, у Гоголя, любил ставить в речку стол с самоваром и, сидя в воде в голом виде, наслаждаться чаепитием. В рассказе Лескова немецкий инженер устроился в Россию по контракту и, понятно, нашел русские порядки варварскими. Ему приходилось часто разъезжать по деревням в простой телеге. Смышленный немец привязал на телегу железное кресло и путешествовал с некоторым комфортом, скатываясь, время от времени, в болото или в овраг. За любовь к композитору Гайдну крестьяне прозвали его «гадиной», а после усовершенствования телеги дали высокое имя «мордовского бога».

Но это всё курьезы, анекдоты. Чаепитие в речке, железное кресло, привязанное на телегу — это, по крайности, оригинально. Если мы зайдем, к примеру, в музей мебели или музыкальных инструментов, то поразимся своеобразию каждого экспоната. Вычурность, пышность, изысканная капризность изгибов, обилие золота и драгоценных камней, прециозные сценки великих живописцев, украшающие кушетки, козетки, клавесины, спинеты, виолы... поражают глаза и уводят душу далеко от повседневной ординарности. Роскошь как полное торжество дискомфорта. Мебель и музыкальные инструменты для избранных.

Но христианство предпочитает избранным малых сих. Для умиротворения малых сих необходимы элементарные удобства и сытость. Это потребовало радикального изменения общества. Комфорта не добиться без постоянного развития техники и коллективного труда. Причем это не обычная необходимая работа, как бывало в старину. Это кропотливый, тяжелый, ежедневный, многочасовой, доходящий до непосильности труд, однообразный до остервенения в силу растущей специализации. Христианство и не подозревало немислимости поставленной задачи — слегка переориентировав нравственность а сторону справедливости и милосердия, равно распределить плоды коллективного труда и, таким

образом, облегчить жизнь телу и освободить душу. Низшие уровни грубой силой всегда превосходят высшие. Тело покорило душу, притянуло ее к себе, навязало свои интересы, радости и печали и, в конце концов, ассимилировало так, что самоё понятие о душе растворилось в телесной эмоциональности.

Аналогичную роль сыграла душа по отношению к духу. Он утратил свою спиритуальность, свой «умный огонь, интеллектуальную интуицию, гармонию Гермеса и Гестии», затребовал свою долю комфорта, которая выражалась в создании удобных условий для умственной работы, то есть для рациональных расчетов. Лишенный божественного огня, дух обрел демоническое пламя Тифона, который разрушает и губит свою мать Гею в отместку за поражение от Зевса и Аполлона.

Задача показалась поначалу сравнительно простой. Потратить дорогостоящую роскошь на приобретение «орудий и средств производства», производить вместо шелка и бархата много дешевых тканей, вместо мебели из драгоценных пород дерева — много дешевых столов и стульев, заменить изысканную еду простой и сытной пищей и главное — обеспечить население нормальным освещением, водой и транспортом. Но для решения этих скромных проблем оказалось недостаточно ручного труда. Необходимость в машинах стала очевидной. Ручной труд индивидуален и требует, в иных случаях, высокого мастерства. Общество нуждалось преимущественно в количестве и потом уже в качестве продукции.

Работникам-одиночкам или небольшим мастерским во-первых это было не под силу, а во-вторых, не давало никакого удовлетворения. Каменщик нуждался в дорогом камне, приятном для выделки и резьбы, мастер по дереву или портной требовали материалов высокого качества. Переход в восемнадцатом веке от индивидуальности к стандарту, замена ручного шитья ткацким станком, дров — углем, облегчения труда строителя примитивными механизмами отнюдь не обрадовало население. Но это были только первые шаги.

Расчетливая агрессия, которая заменила «интеллектуальную интуицию», требовала новых видов энергии и полной свободы изобретательской мысли. Паровозы и пароходы стали конкурировать с парусниками и экипажами. Началась эксплуатация планеты в широких масштабах. Землю взломали шахтами и каменоломнями, пламя Тифона взбунтовалось в металлургических печах, огромные города воздвиглись, вытеснив деревни, степи и леса. Люди поначалу растерялись, ощутив одиночество среди четырех космических стихий: умственное усилие вместо божьей помощи; ни ангелов-хранителей, ни благодного утешения церкви, в случае беды, ни достойных проповедников, объяснивших бы позитивность новой ситуации. Церковь сама пришла в колебание, ибо христианские призывы достигли обратного результата: облегчение жизни, замена роскоши для немногих скромным комфортом для большинства сплотило тело, душу и дух в чудовищное единство под безусловным диктатом тела. Христианство уступило вере в бесконечный прогресс и диким социальным утопиям.

Мы упомянули, что трамвай стоит дороже хрустальной кареты мадам Помпадур. Трамвай — массовое средство передвижения, для его производства необходим труд сотен и тысяч металлургов, инженеров, электриков, чернорабочих и, самое главное, солидный бюрократический аппарат. Если бы какому-нибудь эксцентрику вздумалось ездить на собственном трамвае, беда была бы не столь велика и не случился бы социальный переворот. Но эпоха блаженных бездельников, неторопливых мечтателей, небольших цеховых объединений кончилась, люди образовали рабочую массу, подчиненную принудительному графику, массу, зависимую от быстрых и вместительных средств передвижения. Поезда, пароходы, автобусы, троллейбусы — всё это требовало невероятного количества энергии, машин и рабочих рук. Обогастило ли это человека, сделало ли его счастливей и свободней? Ни в коей мере. Нищета потеряла свою живописную панораму, богатство прикрыло свою роскошь, люди превратились в организованную толпу, в однообразную серую массу, выползающую из мглистого тумана и пропадающую в нем. Кажется, что население увеличивается сообразно невероятному увеличению количества

механизмов, а не благодаря естественным законам, лучшим условиям жизни и успехам медицины. Ведь люди не стали лучше питаться и меньше болеть. Напротив. Пища медленно и верно заменяется суррогатами, пропагандируются чудо- витамины, фармакология каждый день изобретает новые лекарства. Но при этом воздух и вода безнадежно отравлены, а земля родит с помощью химических стимуляторов. Если раньше люди, растения и звери жили привольно и земля охотно их кормила и поила, сейчас положение резко изменилось: люди вынуждены терзать негостеприимную, маленькую планету, чтобы не только кормиться, но и вырывать из нее необходимые на их взгляд ингредиенты.

Еще в восемнадцатом веке земля была бесконечна, земные ресурсы бесконечны, реки, моря и океаны были полны рыбы: только ленивцы, бездельники да философы не могли или не хотели приложить минимум труда для пропитания. Но когда население стало увеличиваться чуть не в геометрической прогрессии, а города непомерно расти, только оригиналы предпочли остаться в бедных непрестижных деревнях, занимаясь тяжелым и скучным крестьянским трудом. Большинству отравил душу яд комфорта и жалких развлечений. Они решили в пользу стереотипа. Стандартные стулья и диваны, щи без тараканов, общекультурные выпивки, походы в цирк, варьете и казино. Затем радио и кинематограф. Конкретные переживания незаметно сменились искусственными, фальшивыми, призрачными настолько, что в нашем тенеобразном существовании мы давно забыли о реальной жизни — о ней только напоминают бедствия, катастрофы и смерть. Но о последней думают мало, разве только на поминках. Потом вновь, очертя голову, кидаются в круг дешевых развлечений. Жить стало привлекательно и дешево.

Фикция благополучия, видимая дешевизна. На самом деле эта фикция жизни удорожилась во много раз. Вроде бы, слушать радио, посещать кино или кафе не представляет особой дороговизны. Но если учесть огромное количество персонала, обслуживающего эти «точки», на секунду станет не по себе. А сколько людей занято практическими нуждами огромных городов, сколько стражей порядка! Но нет причин для беспокойства, ибо люди неисчислимы, как песчинки в пустыне Сахаре. Войны, концлагеря, тюрьмы, авто и авиакатастрофы, переполненные больницы только способствуют увеличению населения. Отсюда лицемерная скорбь, с которой хоронят усопших великих ученых, политических деятелей, артистов. От нас уходят великие, незаменимые, единственные, без них жизнь оскудеет. Но «подсознательно» каждый чувствует: на смену явятся сотни других, столь же значительных и необходимых.

Это также своеобразный комфорт стереотипа. Моцарт, Бетховен, Кант, Гегель были редки, как художественно сработанные клавишины и теперь по праву превратились в памятники или заняли почетные места в музеях живописи или восковых фигур. Сейчас всякий признает их величие и тут же забывает как сфинксов и пирамиды. Слишком уж тороплива жизнь, слишком уж много бессмертных, слишком уж много великих творений. Когда-то Генрих Гейне плакал в Лувре над статуей Венеры Милосской. Ныне, в эпоху комфорта, ему предоставили бы множество фотоснимков или кинокадров упомянутой Венеры и он, услаждая свою сентиментальность, не тратил бы денег на поездку в Париж.

Комфорт, прежде всего, метод размножения копий всего и вся. Земля бесконечна, небо бесконечно, каждая вещь бесконечна. В своих копиях, разумеется. Дракон Тифон внушил мысль об аэропланах, ракетах и метро. Казалось бы, благодать для катастроф. И они случаются, вполне регулярно случаются, о них передают по радио и телевидению, объявляют «день национального траура», показывают угрюмые массы на митингах и кладбищах и забывают на следующий день. Затем спокойно развлекаются фильмами, забитыми убийствами, пожарами, ужасающими «доисторическими» монстрами и зловещими пришельцами. Когда это надоедает, переключают программу и хохочут над комедией или мультимпликацией.

Страх утрачивает свое магическое действие. Атомную войну или многочисленных жертв пандемий можно равным образом разглядывать на экране. Наступает торжество «общей теории относительности». Франциск Ассизский и Джек Потрошитель мало чем отличаются друг от друга. Право и бесправие, милосердие и жестокость, справедливость и алчность, гений и злодейство, дети и взрослые, мужчины и женщины — все это тяготеет к одинаковости. Пламя костра Жанны д'Арк и отравительницы Дарю одинакового цвета. Это не утопия в духе Замятина или Хаксли. Это современная сиюминутная жизнь-смерть.

Миф о тайне

Когда инженер Сайрес Смит (персонаж «Таинственного острова» Жюль Верна) спускался с фонарем в глубокий колодец, он разочарованно сказал: «Я не обнаружил никого и ничего. И все-таки что-то должно там быть». Никого и ничего (Немо по-латыни). И все-таки изобретательный инженер и его деятельные товарищи обнаружили капитана Немо. Правда, когда он сам того захотел. В этом отличие тайны от любой скрытой вещи — спрятанного сокровища, неожиданной находки, случайного секрета, замаскированного объекта. В стороне от последних она свободна в своем желании раскрываться. Тайна никогда не должна иметь претензию на таинственность и лучше ей выглядеть как пустяк. В одной из сказок братьев Гримм собаки носились по кладбищам и пустырям с дырявым неказистым башмаком и, наконец, спрятали его в кустарнике. Сметливый нищий, который всегда интересовался повадками бродячих собак, вытащил башмак, сунул в котомку и побрел в корчму. Попросил у хозяина кусок хлеба, но когда хотел обменять на башмак, хозяин погнался за собой. «Стой, любезный, — послышалось сзади, — не хочешь ли получить за свой башмак пару отличных сапог?» Почесал нищий в затылке, отказался, подумав: «Видать это не простой башмак, коли такую цену за него предлагают.» Помысли нищего и ценность башмака нас не интересуют в данном случае. Любой объект окружен лабиринтом значений и добраться до его важного и таинственного смысла нелегко. Скажем, в дверь ломятся бандиты, на полу валяется старое полено: подпереть дверь, избавиться от бандитов — не каждому придет в голову. Следовательно, разгадка тайны дана не каждому, но избранному. В упомянутой сказке рассерженный нищий швырнул дырявым башмаком в назолу-покупателя — кривые башмачные зубы впились в шею. «Не беда, — решил покупатель, — за этот башмак с золотыми гвоздями еврей Нафтула отвалит мне целый мешок монет». Брел, покупатель, брел, а когда пришел к Нафтуле, совсем ослабел, лег на пороге да и помер. Обрадовался ростовщик, заплясал от радости и запел лихую песню: «хорошо живет Нафтула, много много дураков... Осел-то этот не знал, что гвозди башмака отравлены.» «Отстань, кичмохес, — заорал он на любопытную жену, — я теперь да с таким башмаком на самой красоте Мордикен женюсь.» Разозленная жена ахнула его по голове башмаком, глядит, муженек то мертвый. Зарыдала и удрала неведомо куда. Остался башмак хозяином в доме, сидит, прохожих зазывает. Нищий мимо проходил, увидел свою находку и дал стрекача: «Уж лучше матушке чуме колечко подарить, чем с чужим башмаком связываться.»

Нищий по-своему прав. Каждый башмак — «вещь в себе» и «вещь вне себя». Как первый, он не особенно опасен, как другой — дело иное. На чьих ногах он побывал, чьи руки его мастерили да чинили — бог ведает. Надев чужой башмак, пусть как угодно он будет впору, мы принимаем на себя часть иной, неведомой судьбы. Так в сказке Музеуса украл батрак пару почти новых башмаков и привели они его в логово разбойников. Пировали бандиты, а первеющая среди них его жена в платье гулящей девки. «Фрицхен, дорогая, как ты здесь оказалась?» «А вот кум и поживу прислал, — заорала Фрицхен хриплым басом. — Не глядите, что он в обносках, за ноги его к березовому суку привяжите, глядишь, деньги и посыпятся! Это сам эрцгерцог в лохмотья изволил нарядиться!»

Мораль нашей басни отличалась до сих пор простотой и наивностью. Объект рождает у созерцателя много ассоциаций и последний, по мере выдумки и таланта, сочиняет сказку или рассказ в целях морали, забавы или гротеска. Но ни он, никто другой не расскажет подлинного мифа о башмаке. Конечно, объект усложнен: башмак братьев Grimm уснащен золотыми отравленными гвоздями. Можно, вероятно, придумать не только моральное поучение об опасности трогать чужое, но и драму более загадочную. Возьмем, к примеру, рассказ Эдгара По «Бочонок Амонтильядо». Некто находит в винных подземельях старого замка, среди обсыпанных кирпичей скелет, перехваченный ржавой цепью. Эдгар По предпочел рассказать сюжет, как мы его знаем. Удивительна столь жестокая месть за незначительную обиду! Но другой рассказчик мог посмотреть на сцену другими глазами: он заметил бы собственный фамильный перстень на пальце скелета... и действие пошло бы другой тропинкой. Третий, понаблюдав хорошенько, различил, что вокруг скелета собираются угрюмые слепцы ради неведомого ритуала. В результате тайна скелета не была бы раскрыта — фантазия зрителей перемещала бы ее с одного плана на другой.

Никто не будет спорить — «Собака Баскевилей» — страшный рассказ. Но ничего таинственного нет. Напротив, автор настолько хорошо анализирует мотивы и детали преступления, что остается только восхищаться талантом Шерлока Холмса. Это человек сугубо современный. Для него существует головоломка, хитросплетение замысла — их необходимо распутать хотя бы ради собственного честолюбия, ибо Шерлок не простит себе ошибки или заблуждения. Он невыносимо скучает «без дела» — дело для него заключается в раскрытии сложной загадки — иначе он предастся скрипке или морфию. Он с удовольствием вмешался бы в коварные затеи «прародителя зла», но «сказок больше нет на этом грустном свете». Трудно вообразить человека более далекого от идеи тайны, нежели Шерлок Холмс. Нельзя путать романтику преступления со специалистом «по распознаванию разных пеплов табака», как нельзя смешивать угрюмого усталого пропойцу с блестящим клоуном на арене.

В наше время люди разделились на чудаков, чувствующих тайну решительно во всем, и специалистов, которые утверждают, что «со временем на этот вопрос будет получен ответ.» Этих специалистов, неуклонных оптимистов становится все больше, но все они отвечают на мелкие вопросы, которые со временем либо забываются, либо встречают неуклонных противников. Даже мелкие вопросы веерно раздробляются на совсем уж микроскопические. Никто не думает спрашивать вечное: «Кто мы? Откуда пришли? Куда идем?» Никто не думает констатировать:

Но в мире есть иные области,

Луной мучительной томимы.

Для высшей силы, высшей доблести

Они навек недостижимы.

Там волны с блесками и всплесками

Непрекращаемого танца,

И там летит скачками резкими

Корабль Летучего Голландца.

(Н. С. Гумилев)

К области Летучего Голландца примыкает курс блужданий «Артура Гордона Пима» Эдгара По. Когда в нездешнем молчании Южного моря, среди пепельно-серого нетающего снега раздаются крики «Теке-ли-ли» хищных белых птиц, когда над полюсом вздымается огромная высокая фигура, ослепительно белая... тайна уходит в еще более таинственное. Со времен алхимии тайна превратилась в элемент эстетический, а не познавательный. Именно так представляет немецкий поэт Готфрид Бенн вопрос «Откуда мы?»: «О чьими предками мы были в пра-времени? Дрожащей слизи в теплом болоте? Холмика дюны, созданного ветром и уничтоженного ветром? Головы стрекозы или крыла чайки, уже чувствующие жестокость страдания?»

...Туманная бухта, зловещие сны джунглей. Звезды, расцветающие тяжелыми комьями снега. Прыжок пантеры в беззвучном лесу. Всё — берег. Вечно зовет море.»

Готфрид Бенн знает: тайна недоступна, но вечно зовет. Юноша — герой баллады Шиллера — ревнует к жрецам, запрещающим снимать покрывало со статуи богини Изиды в древнем храме Саиса. Выбрав удачный момент, он снимает покрывало. Конец баллады печален. Юноша, мрачный и угрюмый, покинул Саис, вернулся на родину и вскорости умер от безысходной тоски. Такова судьба всех искателей тайны. Можно разгадывать ребусы и шарады, остроумно решать сиюминутные вопросы, находить выходы в безвыходных ситуациях, но здесь остается только задумчиво молчать, подобно ангелу гравюры Дюрера «Меланхолия». Ангел спокойно разглядывает «философский камень», расположенный среди прочих объектов, изображенных на гравюре. Это правильный пятиугольник, переходящий, по мысли Дюрера, в глубине гравюры в не менее правильное пятиугольное объемное тело, в принципе невозможное. Это — тайна. Отсюда звезда «Меланхолии», встающая в ретроспективе гравюры. Крайнее спокойствие ангела свидетельствует о том, что он отнюдь не собирается познавать непознаваемое. Ведь кроме острия познания, упрямого и закрученного, словно бурав, существует много других способов мировоззрения. Читая крайне изысканное стихотворение Александра Блока, мы менее всего думаем о его «понимании»:

День поблек, изящный и невинный,

Вечер заглянул сквозь кружева.

И над книгою старинной

Закружилась голова.

Встала в легкой полутени,

Заструилась вдоль перил...

В голубых сетях растений

Кто-то медленный скользил.

Тихо дрогнула портьера.
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги.

Услыхала об убийстве —
Покачнулась — умерла.
Уронила матовые кисти
В зеркала.

Цепкому читательскому взгляду ухватиться за что-нибудь и провести логическую линию совершенно невозможно. Знаком творчества Блока, может быть, назовет имя женщины, которая внушила стихотворение. Любителю Метерлинка или Шарля ван Лерберга интонационно вспомнится «Принцесса Мален» или «Они предчувствовали». Вспомнится легкостью, зыбкостью, скольжением неизвестно куда, изломанностью в неведомом векторе. Ясно только: женщина читала «старинную книгу», с наступлением вечера закружилась голова, она встала и «заструилась вдоль перил»...

...Кто-то, названный только неопределенным эпитетом, скользит «в голубых сетях растений»(человек? змея? паук? — все это полностью неубедительно.) Наконец, некая реальность: портьера отодвигается, в комнату входит голубой кавалер и слуга. Но ни малейшей активности. Портьера тихо дрогнула, а комната «приняла» шаги, как флакон «принимает» духи. Или комната «приняла» шаги персонажей «старинной книги» — голубого кавалера и слуги — и читательница узнала об убийстве? Опять же кто она? Мы знаем только, что у ней закружилась голова, что она «встала», «заструилась», «покачнулась — умерла» и «уронила матовые кисти в зеркала». Ни одного существительного. «Она» распознается только по женскому роду глаголов. Фосфоресценция слов угасает в недоступности тайны, которая нас окружает тотально, на разных онтологических уровнях. Это касается не только блуждающего отражения облака в воде, не только странного поведения нищего, наделяющего богатого своими тряпками, это задевает психологическую глубину людей самых обыкновенных. Если нельзя обладать тайной, можно, по крайней мере, «сделать вид», что обладаешь.

В рассказе Оскара Уайльда «Сфинкс без загадки» речь идет об этом последнем случае. Не очень красивой, скромной в расходах женщине среднего класса осточертели муж, подруги, дети и родственники. Ей надоело, что жизнь течет без всяких событий и приключений, совершенно лишенная таинственности. Она вдруг

почувствовала : без привкуса тайны жвачка жизни непереносима. Тайком от родных, она наняла бедную квартиру в непритязательном доме и посещала ее по несколько часов в день. Что она делала? Сидела у закрытой занавеси и наблюдала за событиями на улице, на

своей улице. Она научилась воображать. Это постепенно отразилось на ее манерах, походке, выражении лица. Ее стали находить странной, намекали мужу на «роман», удивлялись ежедневным отлучкам. Однажды, на семейной встрече, она, ныне чуждая и молчаливая, подняв пальцы, обратилась к толстому стряпчему вполне кокетливо: «С вашей стороны, лорд Альфред, не очень-то удобно дарить замужней женщине такое дорогое кольцо. Что подумают люди?»

Непроницаемый туман тайны, манящий и завлакивающий, окружает нас разреженной и плотной сферой. Она притягивает и отталкивает, объяснить ее можно лишь предположениями, одно другого фантастичней, поскольку жить в ней невозможно. Логика и порядок вещей ограничили человеческий мир жесткими правилами, что неизбежно, ибо иначе необъятная тайна разнесет его в куски. Чудесное и волшебное назвали «сказкой», невероятно-доблестное — «легендой» — довольно убедительные слова. Только с мифами ситуация плохо определена. В принципе, это линии и круги, направляющие судьбу всех и каждого, но такой дефиниции недостаточно. Слишком много в мифах сказочного и чудесного, чтобы поверить в их достоверность, слишком часто мифы переписывали и перекраивали в тех или иных целях, чтобы не усомниться в их подлинности. Да и понятного в них маловато. Что такое «золотые яблоки Гесперид», «золотое руно» и еще десятки вещей? Что такое бессмертие, когда смерть — событие более чем загадочное?

И самое главное: когда не верят в богов и героев, мифы теряют значение и сводятся к уровню сказки и легенды, хотя они не имеют ни малейшего поучительного значения. Они уходят в тайну, их лучшая интерпретация — освобождение от любых антропоцентрических трактовок. Когда итальянский поэт семнадцатого века, Джаккомо Любрано пишет: «„Арго“ берет за весла новые звезды», наше понимание трудного мифа о путешествии аргонавтов усложняется еще более. «Арго» покидает знакомые берега и направляет свой путь в неведомый Океанос, где нет ничего кроме Тайны.

Миф о толпе

У Эдгара По есть любопытный рассказ, названный «Человек толпы», Речь идет о старике, который блуждает с утра до ночи по городу, примыкая к группам людей, большим или малым, одетым неряшливо или аккуратно, говорливым или молчаливым. Старик не принимает участия в разговорах, сторонится уличных происшествий, завидев большую толпу, присоединяется к ней, слышав митинг, торопится туда — одинокий и молчаливый. Когда кончается представление в театре, он спешит к выходящей толпе, рассматривает, как дамы рассаживаются по экипажам. Стоит одной толпе разойтись — он ищет другую. Старик угрюм, сосредоточен, ничем особенно не примечателен — однажды, правда, случайный прохожий задел полу его плаща — показали великолепной выделки шпага и роскошный камзол. Так он блуждает с утра до ночи в поисках толпы, а потом, когда улицы пустеют, исчезает в сумерках. «Кто это? — тщетно гадают писатель и коротко отвечает: — Это человек толпы.»

Вероятно, Эдгару По не составило бы труда придумать романтическую и живописную историю, но таковая бы неизбежно вовлекла старика в конфликт с толпой. Здесь человек не может жить без присутствия людей, он просто не вступает с ними в контакт. Из отвращения? Нет. Из презрения? Нет. Он не наблюдатель жизни людей, как герой «Углового окна» Гофмана. Он — оригинал. Так очень кратко и очень расплывчато можно очертить старика. Оригиналлов на свете много, но из них не составить толпу. «Сто умных людей, собранных вместе, образуют одного большого идиота», — сказал К. Г. Юнг. Подразумевается, что «ум» — нечто

неповторимое, единственное в своем роде, и максима Юнга принципиально невозможна. «Умные» Юнга будут стесняться, молчать, удивляться своему собранию и, наконец, разойдутся, пожимая плечами, шокированные таким нонсенсом.

«Умные» Юнга, прежде всего, индивидуалисты, у каждого свои проблемы, непонятные другим. Более того: они игнорируют толпу, не понимают ее, зачастую презирают. Попав в толпу, жаждут из нее выбраться. Теоретически они за лучшие условия жизни для всех, теоретически жалеют оборванных, грязных детей и женщин, желая, чтобы их мужья бросили пить и подыскали приличную работу. Это промелькнет в их мозгах и моментально забывается. Вообще лучше держаться от нищей толпы в стороне, либо найти остроумное решение. Оскара Уайльда, к примеру, раздражал оборванец, клянчивший милостыню под его окнами. Уайльд позвал портного и попросил скроить точно такие же лохмотья — только из добротных, качественных материй, дабы не оскорблять своего эстетического чувства.

Толпа, как и оригинал, явление особое. Гюстав ле Бон, французский писатель начала двадцатого века, удачно назвал свою книгу «Одинокая толпа». Это сборище никчемных, ничего не желающих делать, людей начала технической цивилизации. Приставить их к механической работе оказалось невозможно. Они любят свободу в своем понимании, то есть пьянство и лень. Оборванные, нищие, отовсюду выгнанные люди собирают с трудом набранные гроши, пропивают и клянут власти предержащие за наплевательство на них, таких же созданий Божиих. У них нет прошлого, им вовсе нечем и незачем жить. Но когда пробегает искра пьянства, пробуждается всё; прошлое, понятое как вечная несправедливость, голод и холод; будущее как мечты о куске хлеба и теплой кровати: настоящее как минутный эффект пьянства, не сулящее ничего кроме голодной смерти. Проклятья, богохульства, призывы к мести, «то ли еще будет», страшные пророчества. Но вот в стихийной неразберихе порождаются главари: говоруны, смутьяны, подстрекатели, вожаки. Мы так ничего не добьемся, орут они, надо действовать, разорить дом такого-то лабазника, такого-то богатея, довольно они попили нашей кровушки! Стихия, получив направление и адрес, моментально собирается в одно целое. Это великолепно изображено в романе Диккенса «Барнеби Радж»: толпа, руководимая подобными радетелями справедливости, набрасывается на винные склады. Из разбитых цистерн вытекает речка спирта. Мужчины, женщины, дети — все без исключения — приникают к этой речке и пьют, пьют... до обморока, до смерти. Зачастую появляются личные ненавистники каких-то лордов, каких-то важных чиновников: перевозбужденная толпа, вооруженная чем попало, набрасывается на их жилища — грабит, ломает, поджигает... Стихия редко безумствует в одиночестве, огонь всегда действует по следам обезумевшей толпы. По всему Лондону, описывает Диккенс, то тут, то там вспыхивали пожары. Ломали ворота, поджигали тюрьмы. Когда мятеж достиг невиданных размеров, испуганные власти поставили около королевского дворца два кавалерийских полка.

Этого оказалось мало. Пришлось вводить целую армию, дабы справиться с разъяренной толпой. После подавления мятежа, люди еще долго думали и гадали, каким это образом нищие лохмотники и «отбросы общества», которые промышляли случайным заработком, воровством, пьянствовали по кабакам, развлекались петушиными боями и тешились скабрёзными анекдотами, каким это образом они могли образовать страшную, озверелую, неистово жестокую толпу.

Французская революция, организованная сословно и политически, имея конкретных врагов(короля и духовенство), сумела, более или менее успешно, превратить население в

массу, хотя и не искоренила буйных элементов толпы. Лидерство, патриотизм, порядок и дисциплина не помешали вспышкам отвратительного изуверства и бунтарства во многих департаментах страны. Толпа не хаотична, у ней имеются свои веками унаследованные авторитеты, вернее сказать, идолы — Господь Бог, духовенство, сеньеры. Над ними постыдно думать, это в крови, подвергать это сомнению — страшный грех. Заменять их

«свободой, равенством, братством», по меньшей мере, нелепо. Первые два термина непонятны толпе, а третий производит только митинговое, так сказать, фонетическое волнение. Французская революция сугубо буржуазна, а буржуазия неведомо почему считала, что народ стремится к слиянию с ней, препятствуют только религия, королевская власть и дворянство. Крайне ошибочная точка зрения, объясняющая полную неразбериху этой революции. Превратить толпу в

массу, то есть в обезличенную материю, послушную вдохновенным декларациям и обещаниями хорошей жизни — дело безнадежное. Толпа любит пышность богослужения, роскошь дворянских праздников, а вовсе не учение и просвещение. Учение — дело божественное. Уважительно, когда монах благоговейно склоняется в келье над листом бумаги, терпимо, когда дворянин строчит любовную записку своей возлюбленной, но никуда не годится, когда справно одетый купец или «аблакаты» корпят над своими кляузами да расчетами с целью кого-нибудь обмануть или потащить в суд. Поэтому народ разделял глубокое презрение дворянства к буржуазии. Для толпы, буржуа — скряги, ворюги, взяточники, кровососы. Расклад Французской революции таков: с одной стороны — толпа и дворянство, с другой — буржуазия. Толпа признает две добродетели — удасть и веру в Бога. Бережливость, здравый смысл, усидчивость, терпение, накопление — не для толпы. Богиню Разума толпа принимала как покровительницу денег, а потому презирала. Более всего непонятно было равенство. Толпа признает иерархию — незыблемый порядок вещей. Пусть она с наслаждением предается разрушению, разного рода издевательствам, пожарам, зная прекрасно, что за этим последует возмездие. Но ей нечего терять, ибо собственности у нее нет. В любых, даже самых кровавых расправах толпы, всегда чувствуется лихость, озорство. Вспомним сказку, что Пугачев рассказал Петруше Гриневу про ворона и орла: почему ты, ворон, живешь триста лет, а я всего тридцать? Потому, что я питаюсь падалью. Нет уж, уволь! Лучше один раз напиться живой крови, а там... поминай как звали! (А. С. Пушкин. Капитанская дочка)

При всей своей лихости, буйстве и бунтарстве, толпа чтит иерархию, устроенную Господом Богом, который поставил на первое место царскую власть, на второе — дворянство, на третье — простой народ. Потому-то игнорируется буржуазия с ее демагогами и краснобаями, ратующими за лучшую жизнь в будущем. Толпа живет секундой: выкатит царь-батюшка бочку вина, сбросит простому человеку шубу со своего плеча, пожалует червонцем — вот оно и светлое будущее. Ну, а если не пожалует кнута — на то его царская воля. Обсуждать поступки царя достойно муравья, а не человека.

Заодно с буржуазией народ ненавидит ее детище — механизацию, считая оную дьявольскими кознями. Паровозы, пароходы и прочие машины поначалу вызывали страх и ненависть, потом просто неприязнь. Их избегали и сторонились. Крестьяне толпились в приемных разных сановников, доказывая пагубу новых изобретений и уходили, махнув рукой — видать везде кривда правду передолила. Просили священников в церкви — те также относились отрицательно к механике — помолиться хорошенько, приносили в храмы множество даров — всё напрасно. Низводили рабочие подчистую леса и поля, повсюду громыхало дьявольское железо. Видать разгневался Господь на дела людские. Один старый крестьянин из рассказа Глеба Успенского поведал следующую историю: «И вышел святой Варсонофий, высоко подняв крест, навстречу ихней сатанинской машине. Сотворил молитву праведник — и полетел нечистый на своей железяке куда-то в болото. Там и сгинул. Долго еще раздавались вопли и визги бесовские.» (Очевидно, принял крестьянин крики жертв за «вопли бесовские».) К тому же крестьяне, со своей любовью к буйству и размаху, не могли понять, как это свободную стихию втиснуть в металлические передачи да колеса и заставить работать. По прихоти своей стихия может крутить мельничные крылья, гнать рыбу в сеть, собирать тучи, но не прилежно трудиться на благо человека. Не подобает урагану за прялкой сидеть или огню в топке гореть: дело урагана — крушить корабли в море, срывать дома в пропасть, дело огня — сжигать деревни и леса. Стихия должна быть свободной — иначе

какая же это стихия! Нельзя построить мир только лишь на дисциплинированном созидании, нужны силы, способные в любой момент его уничтожить. Так думали мыслители толпы и к тому призывали. Свобода всегда связана с разрушением — иначе это не свобода. Только разрухи и катастрофы вызывают творческий импульс и энергичский порыв — тогда — в неустанных постройках, в устройстве более удобных мест проживания рождаются новые инициативы и решения. Но для этого необходимо готовое к труду население, а создать из толпы «послушный народ» не смогут «мундиры голубые». Потому что толпа — первичная человеческая группа. Мы рождаемся свободными и можем, на потеху матери, хоть день и ночь играть своими погремушками. Через год-полтора начинается легкий прессинг: то и то нельзя, это хорошо, а это плохо. Затем прессинг незаметно переходит в репрессию, дисциплину, послушание. В конце концов, количество «нельзя» неизмеримо превосходит количество «можно». Но всякому «нельзя» всегда внутренне противостоит «можно». Это «можно» и «хочу» сначала возбуждают окрики матери и ремень отца, потом исправительные дома и тюрьмы, где «мундиры голубые» жестоко учат «послушанию». Но у детей способных принудительное воспитание часто вызывает

ответность. В результате иногда вырастают бакалавры

ответности, отчаянные хулиганы, цвет и краса толпы. Это люди опасные, в которых стихия преобладает над гуманностью, талантами и прочими положительными качествами. При случае они становятся вожаками, лидерами, корифеями толпы. Подобная толпа уже не вызывает презрительного пожатия плеч или интеллигентной усмешки — она упорна, бесстрашна и намерена уничтожить мир «до основанья».

Эти замечания касательно толпы сейчас не имеют ни малейшего резона. Время толпы кончилось: ее убил тотальный технизм, без которого люди уже не могут обойтись, общая тенденция к порядку и миру, размывание национально-расовых границ, невероятное распространение пропаганды, развлекающее население «сенсациями», запугивающее мелкими и крупными угрозами, начиная от эпидемий и постоянной опасности терроризма и кончая атомной войной. Любое правительство склонно приписывать собственным усилиям относительное благополучие и благосостояние населения. Демагогия, ложь, выдумки о процветании, о котором беспрерывно думает руководство и о тех, кто тормозит сие процветание заполняют страницы газет и экраны телевизоров.

Деньги стерли любое классовое различие. Ганги, спаянные финансовыми интересами группы, успешно вытеснили удачливых воров и бандитские шайки. Причем все равно, как эти деньги появляются, сам факт их наличия обеспечивает обладателю всеобщее уважение, несмотря на слухи о коррупции и махинациях. Богатые люди держатся скромно и достойно, слухи о дорогостоящих дебошах и покупках невероятной цены вызывают у них в памяти устойчивые поговорки: поговорят — забудут, собака лает, ветер носит...и т. д.

В триаде «толпа — народ — масса» лишь последнее приобрело капитальную роль. Только речь может идти не о «восстании масс» в духе Ортеги-и-Гассета, но о массах, низведенных до состояния послушной текучести. Это объясняется технической цивилизацией, мегаполисами, где необычайное скопление населения упрощает манипуляцию с ним. Здесь количество довлеет качеству: грандиозное количество автомобилей, страшная давка в общественном транспорте, бесконечная сумятица в метро и аэропортах не улучшает настроение массы. Отсюда, помимо всего прочего, постоянная раздражительность, беспокойство, вспышки внезапного гнева. Равно с классовой, распалась и семейная структура. Молодежь чувствует себя независимой от старшего поколения, зачастую выказывая откровенное презрение и демонстрируя «стихийность». Но это не более чем пародия на буйство, спровоцированное неудачей любимой футбольной команды, проигрышем в игровом автомате, действием наркотиков.

Можно многое к сему прибавить, но зачем? Любые негодования не изменят катастрофической демифологизации мира.

Миф о Дон Кихоте

Вопрос о прошлом, настоящем и будущем один из самых простых и расплывчатых вопросов. На уровне сознания «настоящего» вообще не существует — всякое «настоящее» уже в ближайшем прошлом. Будущее всегда предположительно — даже самое уверенное будущее, которое «не страшит», в которое «смело смотрят» или высказывают самые оптимистические эпитеты, основываясь на удачном прошлом и великолепном настоящем. Прошлое — вот реальная загадка. Оно меняется в зависимости от настроений, от поведения знакомых людей или объектов (я думал, он такой добрый, а он оказывается способен... я думал, эта птица сядет на ветку, а она пролетела мимо... я думал, он давно в тюрьме сидит, а он по-прежнему шляется по электричкам... и т. д.)

Мало сказать, что прошлое неопределенно. Прошлое, даже близкое прошлое почти целиком зависит от специалистов — историков, архивистов, археологов, в известной степени, от астрономов и астрологов. И уж конечно, оно зависит от тиранов, королей и разного рода правительств, которые всегда заинтересованы в

своем понимании прошлого. И заметим: это касается реального прошлого. Что же сказать о мифических персонажах? Они несомненно живут в прошлом, потому что время мифов кончилось, и мы вряд ли дождемся в будущем мифического героя.

Несмотря на разрозненные исторические указания автора, следует сказать, что Дон Кихот жил

когда-то, подобно персонажу легенды или сказки. В чем его беда? «Идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра: и вот оттого, что он много читал и мало спал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: чародействами, распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, любовными похождениями, сердечными муками и разной невероятной чепухой: и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц — истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного.»

Поначалу кажется, что Сервантес представляет нам романтического подростка с буйной фантазией, который, в соответствии с эпохой, запоем читает Конан-Дойля или Сабатини. Со временем это увлечение проходит, и подросток превращается в достойного члена общества. Последнего никто не упрекнет, что он в юности увлекался приключенческими романами, хотя предпочтительней серьезное чтение: книги по математике, физике, биологии или астрономии. Тогда ему может больше повезти в открытии какой-нибудь звезды или редкого природного явления. Дон Кихот открыл только одно редкое природное явление — крестьянскую девушку Альдонсу Лоренсо, которую превратил в прекрасную даму Дульсинею Тобосскую, да и то мало ей интересовался: сочинил на эту тему балладу, вызывал на поединок рыцарей, сомневающихся в ее красоте... и не более того.

Книги в данном случае сыграли совершенно необычную роль. Человеческая душа четырехчастна (*anima celestis, rationalis, animalis, vegetabilis* — душа небесная, рациональная, анимальная, вегетативная). Книги пробудили «небесную душу» Дон Кихота — из обыкновенного, довольно бедного идальго он стал «зерцалом рыцарства». Знаменитая книга Сервантеса раскрыла нам вообще тайну рыцарского идеала. Дело не в ржавых доспехах, не

в хромой лошади, не в простоватом крестьянине-оруженосце, точно так же, как дело не в дворцах, не в укрепленных замках, не в драгоценностях, не в богатом платье и прочих слишком человеческих ценностях. В этих дворцах и замках, судя по литературе восемнадцатого или девятнадцатого века, жили подлинные разбойники, грабящие окрестности, нападающие на купцов без солидной охраны и без конца воюющие друг с другом. Но Сервантес, во времена которого рыцарская эпоха осталась далеко позади, не предавался домыслам и фантазиям касательно тамошней жизни, а решил отобразить истинный дух рыцарства в теле современного ему сумасшедшего идадьго. Поэтому роман изобилует смехотворными сценами, неожиданными комическими поворотами, шутовскими пассажами, юмористическими диалогами. При этом, как неоднократно замечает автор, обо всем, кроме миссии странствующего рыцарства, дон Кихот рассуждает здраво и рассудительно. Но его открытая «небесная душа» несколько изменила параметры восприятия и потому он видит удивительные, сокрытые для других, вещи: великанов в облике ветряных мельниц, армию рыцарей, превращенную в баранов, шлем знаменитого Мамбрин под формой тазика цирюльника, что, разумеется, немало потешает Санчо Пансу и других свидетелей.

Обычаи публики, с которой общается дон Кихот — сельчане, торговцы, солдаты, трактирщики, мелкие дворяне, актеры кукольного театра, за исключением мелких реалий шестнадцатого века, — поразительно современны. Эти люди тщеславны, корыстолюбивы, льстивы в предвидение выгоды, не прочь надуть ближнего своего, обмануть благодетеля. Главное устремление, главный замысел — нажить денег, выдвинуться в «люди», попытаться занять должность при дворе или хотя бы завести дружбу с влиятельным человеком. За исключением совсем темных крестьян, они не верят ни в чародеев, ни в колдунов, ни в злых духов и подозрительно относятся к магам, экзорцистам и представителям «тайных наук». В любовь они тоже не особенно верят. В романе есть несколько вставных новелл, повествующих о несчастной любви — герои этих новелл страстно привлекают дон Кихота. Это, как правило, молодые люди романтической внешности, одетые небрежно, со спутанными прическами и неухоженными ногтями, часами рыдающие на берегу ручья о жестокости и надменности возлюбленных, либо о коварстве и лицемерии «преданных» друзей. Сам он крайне жалеет этих людей, считая себя счастливым, поскольку убежден в любви Дульсинеи. Исполняя обет странствующих рыцарей, он удаляется в пустынные скалы Сьерра-Морены, с тоской размышляя о прелестях и занятиях Дульсинеи. Не забыв послать восторженное письмо своей даме, (которое незадачливый Санчо Панса теряет по дороге), дон Кихот, почти голый, предается эквилибристике на утесах, либо погружается в тяжелые размышления о собственных несовершенствах и невыносимых мучениях любви. Мечтая о новых подвигах, он, уподобляясь «мрачному красавцу» (так прозвали в средневековье великого Амадиса Галльского) хватает меч и обрабатывает удары, предназначенные будущим драконам и злым волшебникам.

«Рыцарь печального образа» отважен, смел, великодушен. Он — истинный христианин. Когда, после освобождения каторжников, он выслушивает упреки в неразумности и общественной опасности такого поступка от своих односельчан — священника и лиценциата — он произносит монолог, который стоит процитировать целиком:

«В обязанности странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким образом угоняют и так мучают тех оскорбленных, закованных в цепи и утесняемых, которые встречаются им на пути, — за их преступления или же за их благодеяния. Дело странствующих рыцарей помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости. Мне попались целые четки, целая вязка несчастных и изнывающих людей, и я поступил согласно данному мною обету, а там пусть нас рассудит бог. И я утверждаю, что кому это не нравится, — разумеется, я делаю исключение для священного сана сеньора лиценциата и его высокочтимой особы, — тот ничего не понимает в рыцарстве и лжет, как

последний смерд и негодяй. И я это ему докажу с помощью моего меча так, как если бы этот меч лежал предо мной.»

Чисто религиозная мысль, достойная хорошего теолога. Только глупец или человек, плохо знакомый с учением Христа, может посчитать дон Кихота сумасшедшим. Тем более странно, что герцог и герцогиня, люди казалось образованные, приглашают дон Кихота к себе, чтобы над ним издеваться и насмехаться, наподобие черни. Только это делается с размахом. Дон Кихоту воздают шуточные почести, устраивают представления и комические спектакли, словом, выжимают максимум юмора из диковины, которую подбросила им судьба. Никто из них ни разу не задумывается, что такое дон Кихот. Они счастливы, что им попался безумец столь уникальный, доподлинно упоенный величием странствующего рыцарства и готовый отдать за него жизнь. И когда их (дон Кихота и Санчо), наконец, отпускают на все четыре стороны, и Санчо, довольный, прижимает к сердцу награду (кошелек с двумястами золотых), дон Кихот находит редкие слова о свободе:

«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которых небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это тебе, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собою путы, стесняющие свободу человеческого духа. Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба!»

Дон Кихот не очень-то логичен в данном монологе. Встреча с герцогом и герцогиней вышла случайной, в конце концов, и элементарный закон гостеприимства обязывал хозяев принимать и кормить своих гостей. В своем максимализме дон Кихот обвинил хозяев в их единственной добродетели — в хлебосольстве. Возможно, как бедный идальго, он просто позавидовал, что не мог бы принять гостей столь же хорошо. Благодарность наивного простолюдина Санчо похвальна и понятна. Но дон Кихот высокомерен. Если бы кто-либо дерзнул заявить, что его состояние не превышает жалкого миллиона дукатов, он немедленно вызвал бы насмешника на поединок. Поэтому его замечательный монолог касается, скорее, независимости от помощи богатых людей, а не свободы. И если бы на месте герцога был нищий, он с удовольствием бы принял черствый кусок хлеба и легко нашел бы проникновенные, подходящие случаю слова. Но он — странствующий рыцарь, его дело — спасать бедных и обездоленных, а не гостить в богатых замках.

Так что дон Кихот хорошо сказал о свободе, но несколько отклонился от темы. Вообще книга печальна. Не только злоключения дон Кихота вызывают грусть, а люди, среди которых проходит его вояж. Это хитрецы, скудоумцы, воры, каторжники, продувные трактирщики, шулера, мздоимцы, лихоимцы, проститутки, любители пожить за чужой счет и т. д. С какой стати помогать всей этой сволочи? В романе действительно нет почти никого, кто достоин помощи. Времена странствующего рыцарства реально миновали, но сколько мытарств пришлось испытать дон Кихоту, чтобы это уразуметь! Вместо волшебников, великанов, чародеев и просто достойных жалости несчастных ему пришлось общаться черт знает с кем.

Небесная душа оставила его, а взамен проявилась рациональная душа чрезвычайно здравомыслящего и доброго человека. Правда, он снова принял следствие за причину и во всех своих невзгодах обвинил книги: «Ныне я враг Амадиса Галльского и тьмы тьмущей его потомков, ныне мне претят богомерзкие книги о странствующем рыцарстве, ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, сколь пагубно эти книги на меня повлияли, ныне я по милости

божьей научен горьким опытом и предаю их проклятию.» Совсем напрасное проклятие, в особенности касательно доблестного Амадиса, который менее всего виноват в чудачествах дон Кихота. Добрый идальго справедливо разделил свое имущество и ушел из этого мира как хороший христианин.

Жаль, поскольку вместе с ним ушли рыцари — последние истинные люди.

Сны про метро

Помню, мне снились настойчивые сны про метро, которые я хорошо запомнил:

1. Эскалаторы без перил с жирно намыленными ступенями. Они шли только вниз. Люди ступали на них, будто так и надо, и с безмятежными лицами летели кубарем: некоторые, измазанные мылом, спокойно продолжали свой путь, другие — со сломанными руками и ногами, охали, кричали, позли, вопили про безобразие, но упорно старались залезть в подъезжающий вагон, бросая на перроне мешки, ведра, детей, какие-то аккуратно запакованные тюки. Путь наверх отсутствовал. Очевидно так и надо было, поскольку милиционеры и служащие станции лускали семечки, гоготали, играли в пряталки среди колонн.

2. Помню резкую остановку вагона. Свет погас, сыпались кирпичи, скрежетали трубы, сочилась вода. «Батюшки, сейчас потонем», — заохала какая-то старушонка. «Давно пора, — пробасил довольным тоном видимо солидный дядя, — лет пятьдесят, почитай, в сухости да в тепле живем, властям и надоело.» Несколько подростков раздобыли витую свечку и принялись резаться в карты. Пять — шесть бабок разделявали селедку, потом достали водку и стакан. «Черт знает что!

— загорланил какой-то активист в пилотке, — им на кладбище пора, а они вон что затеяли!» Какой-то старик посвистел над сумкой и выпустил живого поросенка.

Тот первым делом опрокинул банку молока зажатую между ногами какой-то молодухи, потом стал сосредоточенно лизать сапоги лейтенанта. Подскользнувшись в молоке, генерал растянулся в проходе и стал матерно ругаться. Затем дотянулся до стакана бабкиной водки, только только собрался выпить, поросенок выбил у него стакан и принялся лакать с молоком. «Нехорошо, товарищ, — заметил интеллигент поросенку, — твоя профессия — быть съеденным под хреном, а ты порядок нарушаешь.» Тут раздался голос в репродукторе: «Товарищи! Ваш вагон лет триста простоит, так что если кто торопится, попытайтесь открыть зажатые двери. Ближайшая станция — километров пять впереди.» Сначала полез парень с одним ухом, но потерял и второе и завыл про врача. Кровища из него хлестала. На всех это произвело приятное впечатление. Генерал в молоке подбодрился, запел про Буденного, протиснулся в дверь, грохнулся о какие-то бетонные блоки и замер. За ним полез интеллигент, потерял очки и портфель и пошел по груде камней. Шел осторожно, нащупывая каждый шаг, провалился в яму, пропал и заорал, чтоб ему бросили канат. Пьяный поросенок захрапел и старик засунул его обратно в сумку. Подростки продолжали резаться в карты. Бабки обглодали селедку, достали пряников и еще бутылку.

Помню кутерьму в вагоне и крики: «Доказательства! Доказательства!» Обсуждался вопрос о тухлости съеденной селедки. Я раскрыл глаза и огляделся. В вагоне пусто. Рядом со мной сидел интеллигент и бурчал «помнят польские паны». Я пригляделся е нему и едва узнал: от него несло жасмином, он был в розовом пуховом жилете, в парчовом галифе и в затейливых восточных туфлях. Потерянные очки он сменил на пенсне, а портфель на дамскую сумку со множеством застежек. «Как же это вы... из ямы?» «Видите ли, это была не яма, а

костюмерная. Вы, видимо, в метро впервые?» «В таком метро, пожалуй, да.»

Мимо нас проплыл задумчивый толстяк в джинсовом костюме, держа под руку нарядную куклу. «Да...а, мало вы в метро понимаете. И с чего бы Эмилии Захаровне под ручку плыть с кавалером? На совещание что ли опаздывают или на маскарад? Так о чем это я? Да...а, мало вы в метро петрите, а небось среднее образование имеете, может ВУЗ какой-нибудь кончили. Учение — ерундовый свет, а неучение — роскошная тьма.» «Так поезд стоит, да и туннель провалился, — робко вставил я, — торчи тут еще триста лет.» «А куда вам торопиться? Ну умрете невзначай, куда денетесь? Кстати, вот погрызите.» Мой попутчик сунул руку в жилет и протянул мне пирожное с кремом. «На чем мы остановились? Ах да. Великая война богов. Зевс метнул молнией в мятежных титанов, так они сумели эту молнию запрятать в аккумулятор. Чувствуете разницу? Одни расшвыривают, другие собирают. Я, к примеру, дал вам пирожное, ну что бы вам его выбросить? Подари вам это кольцо, (он снял с пальца перстень с роскошным изумрудом) вы бы долго отнекивались, а после может и взяли. А представьте, поставил бы я здесь кубометр изумруда, сколько бы народу набежало? Вы скажете, вагон пустой? Не волнуйтесь. Стоит чему-нибудь появиться, народ тут как тут.» Он вынул и стал разбрасывать из карманов носовые платки, авторучки, какие-то детали. Тут же зашебурились какие-то людишки, карлики, калеки, дрались за каждый пустяк, потом опять исчезли. «Собственность прежде всего, — продолжал он, — имею, значит существую. Помните у Чехова купец перед смертью положил свои деньги в тарелку да с медом и съел. Воровать, может, легче, да способности и смелость нужны. А если их нету, горбись всю жизнь до седьмого пота. Недаром мы в Тартаре, то есть в месте, специально предназначенном для работы». «Простите, но ведь и в мифологии есть примеры и работы и воровства», — прервал я. «В мифологии, — протянул он, — в мифологии...», и вдруг исказился, разошелся, как улыбка Чеширского кота.

Помню, мне надо было сойти на «Маяковской». Я вообще рассеянный, а тут эти сны покоя не давали. Проехал. Двинулся сходить, но удивило название станции: «Восьмая Кудактинская». Нет такой станции, хоть убей. Тут меня толкнули в бок: «Ты что, аль заснул? Здесь же сухари по-дешевке дают. И не червивые.» Смотрю, соседка наша, Марья Тимофеевна. «Глянь, а он мешок-то позабыл. В карманы что ль сухари будешь набивать? Эх ты, рохля!» «Оставь его, Тимофеевна. Заучился, совсем чокнутый стал. И ты тоже хороша. Нам же на „Предсахарную“, там сгущенку дают», — засуетилась деловая тетка в черном платке. Я совершенно обалдел. Откуда такие названия? «Робеспьер», «Маршал Забубенный», «Гвозди в сметане». Может, новая ветка? Чушь. Они бы либо старые оставили, либо какую-нибудь «Космическую» накатали. «Извините, Марья Тимофеевна, — вежливо обратился к соседке шикарно одетый господин, — а

тот песок можно в чай класть?» «Да вы что, Абрам Натаныч, или нового сахарного песка не пробовали? Во-первых, бесплатно, ах как бесплатно! Во-вторых, вкус, что твой мед с патокой! У вас всего один мешок? Ну давайте я по знакомству вам еще один выдам. Это ты, Григорьевна, верно про сахар напомнила. Без сухарей переживем.»

Поезд подходил к станции «Предсахарная». Давка началась несусветная. Соседка подхватила меня и Абрам Натаныча и потащила в какой-то коридор. Так быстрее. Около станции толпились лоточники и бородатые дюжие мужики с мешками: «Бери, прям по мешку отдаем! Не сахарок — золото». Чуть далее стояли большие магазины с дикими очередями — тоже, видать, за песком. Песок был крупный, зернистый, с желтоватым отливом. За магазинами простиралась необъятная пустыня точно с таким же песком, судя по всему. Людей там не было — кто-то один побежал и тут же провалился. Изредка из песка появлялись вагоны метро и тут же уходили в песок. «Это почему так?», — спросил я Марью Тимофеевну. «Ш... ш... ш... — зашипела она. Это секрет, по вашему государственная тайна. Ее только Абрам Натаныч знает, да может еще один человек». Конечная остановка, станция

«Сахара». Некоторые вагоны стояли близко, другие маячили на горизонте. Солнце палило нещадно, мешки нагружались беспрерывно, люди, мокрые от пота, но довольные, выкрикивали лозунги и всякие душевные слова. В основном превалировала хвалебные вопли кому-то и за что-то. Иногда доносились совсем непонятные припевки: чтоб ты сдох, трясун, мы тебе все горло сахаром набьем и в компот сунем, авось очухаеся... Некоторые умывались сахаром, другие их облизывали. Какой-то старик, надрываясь под двумя мешками, радостно напевал:

Сирота я, сахарца,

Ты заместо мне отца.

Несколько вагонов было хорошо видно. В них сидели засыпанные сахаром люди, пригибаясь все ниже и ниже. Когда вагон не хотел уходить, из песка вылезали какие-то спруты, ящеры и прочие монстры и утаскивали вагон вглубь. «Природа на службе прогресса, — возгласил парень в резиновых сапогах, — чтобы значит естественная гармония сливалась с культурной. Инженеры и зверюшек неразумных приспособили к делу!»

Надоел мне этот сахарный апофеоз и побрел я обратно на станцию. Сел в пустой

вагон и поехал неведомо куда. Поезд ускорил ход и помчался, ломая деревья, какие-то автобусы, жилые дома — видимо рельсов не было и он совершал частную прогулку. Наконец наткнулся на какую-то башню и остановился. Часа через два явились рабочие в серебряных шапках и принялись прокладывать рельсы вокруг башни. Материалы они использовали самые разные: бочки, подушки, одеяла, бетонные балки, детские игрушки, автомобильные шины, колючую проволоку и прочий несусветный хлам. Поезд осторожно объехал башню и остановился. Станция «Мирная». В кои-то веки нормальное название. Поезд остановился, двери открылись. Но платформы не было — приходилось соскакивать прямо на землю и чем скорей, тем лучше. Откуда-то появилась толпа с трубами и барабанами и начался концерт если так можно назвать пронзительное дудение, крики без ладу и складу и обработку барабанов отбойными молотками. «Да здравствует ликование!» — визжал женский голос, затем подключился мужской бас: «Ликование и работа на трое суток!» Некто, согнутый в три погибели, отбросил костыли и обратился к субъекту с перевязанной щекой: «Нет, Параллак Никифорыч, не думал, что доживу до такого счастья!» Второй размазал слезы и прикинул: «Никогда не видел таких крупных карасей. Пальцев на сорок, а то и на сорок пять потянут!» «Таисия, а ведь чегой-то такое, скользливое тает в груди», зажурчал мелодичный женский голос.

Настала повсеместная тишина. «Еще тише, товарищи, — прогремел прежний бас. — Идут терпеливцы, лунные оборотни, герои!» Из под земли появилось нечто картинное: звеня бубенцами, выползала огромная толпа в одноцветных клоунских костюмах. «Эти покажут как надо жить и работать!» — воскликнул молодой энтузиаст. С первого взгляда толпа как толпа, это потом меня передернуло жутью. Среди них не было ни одного мало мальски нормально скроенного человека: один был с головой, запрокинутой за спину, у другого руки переплелись как змеи, третий ходил с выросшей из него собакой, четвертый падал, полз на спине и кукарекал, пятый прыгал на одной ноге в то время, когда ему отрезали другую, шестого старательно приклеивали к белому медведю, седьмой подбирал землю и грыз, седьмой пытался привязать на голову тачку с зубчатым колесом. восьмой вел на шелковой нитке крокодила, который норовил цапнуть кого ни попадя...

«А зачем крокодила?» — спросил я толстого парня с вечно улыбающейся рожей. «Это когда электричество отключают», — захохотал он и зашелся в приступе одуряющего визга.

«Ну этим приказывать не надо, — заявил рыжий дед с повязкой на рукаве „знатный хлопкороб“, — это не работники. Стихия».

Орда подземных оригиналов дружно набросилась на вагон: одни разбирали крышу, другие развинчивали пол и кресла, третьи снимали колеса. Крокодил, как признанный юморист, старался всех развеселить: отовсюду раздавались стоны, протяжные вопли, всюду сновали санитары с носилками.

«Сахару бы ему дать», — предложил я.

«С этим в стране дефицит, — заметил серьезный всезнайка, — надо в Америке на специалистов менять. А вообще слово „Америка“ прошу не использовать.»

Работа подземных жителей кипела. В полчаса они разобрали вагон. Крокодила ради безопасности обмотали проводами. Но меня поразил следующий момент: все части, кроме колес, они уносили и прятали глубоко под землю. Для колес рыли могилы, укладывали торжественно, под музыку, поскольку вновь появились трубы и барабаны и даже плакальщицы. Над каждым колесом ставили крест и расходились.

Очнулся я от резкого удара в бок. Оказывается кому-то на ногу наступил. Был я в метро, кажется в

настоящем метро. Но откуда знать, какое настоящее, а какое... Теперь я понял: это ужасный античный дракон Тифон, бесконечно разветвляющийся в глубинах Тартара. Как только открылись двери вагона, я протиснулся в них и поспешил к эскалатору.

Буржуа — люди антими́фа

Один старый польский шляхтич, во второй половине девятнадцатого века, в эпоху развитых железных дорог, предпочитал ездить на шарабане из Кракова в Варшаву. Когда ему указали на неразумность такого рода передвижения и на удобство поезда, он ответил: «Я не собака, чтоб мне свистели!» Естественно, на него смотрели как на старого чудака. Он нарушил два закона современного мифа: скорость и комфорт. Трястись по ухабам вместо того, чтобы наслаждаться вагонным обществом, преферансом и буфетом, да... у него явно не все дома!

Зато он пользовался свободой, которую превыше всего на свете ценил дон Кихот. Это ерунда, что над нами правительство и целая иерархия всякого начальства. Вне жалкого честолюбия можно все это игнорировать. Но даже элементарные удобства оплели нас столь густой сетью всевозможных функционариев, вырваться из которой нельзя. Жить в деревне доступно человеку сильному, закаленному и умелому, хотя и в деревню заползла удушающая змея скуки — одна из владычиц современного мира. Ее лишь усиливают технические увеселения: магнитофон и телевизор на минуту пробуждают глаза и уши, дабы потом зритель впал в еще более глубокую спячку. Скоморохи и фокусники редко случаются в деревне, да и то их появление окружено мертвенным официозом рекламы.

Упомянутый старый шляхтич ценит свою независимость. Вполне вероятно, он любит собак за их лучшие качества: преданность, самопожертвование, хватку, но отнюдь не хочет уподобиться собаке, ибо ей чужда человеческая гордость и независимость. Пусть он даже

старый ворчун и ненавидит родственников — отказать в предчувствии подлинно человеческого ему нельзя.

Подлинно человеческое. Это давно стало фальшивой монетой, самоварным золотом демагогии. «Свобода», к примеру. Понятие столь же абстрактное и столь же общеупотребительное, как и прочие «идеи» Платона, высоко-вопросительное, как «Шестое чувство» Николая Гумилева:

Но что нам делать с розовой зарей

Над холодеющими небесами,

Где тишина и неземной покой,

Что делать нам с бессмертными стихами?

А что делать нам с другими платонизмами: благом, красотой, справедливостью, любовью?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать —

Мгновение бежит неудержимо,

И мы ломаем руки, но опять

Осуждены идти все мимо, мимо.

Лучшие из нас. Если некто родился человеческим младенцем, это просто означает, в отличие от зверя, что у него есть шанс, при соответствующих усилиях и способностях, стать человеком, к примеру, машинально понимать человеческий язык. «Свобода, равенство, братство». Изначально божественные слова, которыми Зевс вдохновлял богов на борьбу с титанами. Совершенно непонятные слова для людей. Они разучились и, похоже, навсегда почувствовать жизнь языка. Поэзия, к примеру, достигла блестящих результатов к середине двадцатого века, но триумф обернулся агонией. Продолжают по инерции выпускать сборники никому не нужных стихов — только и всего. Филологи продолжают изучать великую поэзию, но их исследования тонут в бесконечности других книг — только и всего. Нельзя реанимировать культуру, потому что душа человеческая, уже давно тяжело больная, сейчас практически умерла и перестала чувствовать слова. Поэтому они массами уходят в необъятность демагогии, где человек становится актером, наэлектризованным пустотой. И напрасно студент из стихотворения «Светлая личность» («Бесы» Ф. М. Достоевского) «пошел вещать народу братство, равенство, свободу». Правда, «он незнатной был породы, он возрос среди народа...» А кто такой, что такое народ? Незнатный, просвещенный студент — тоже народ. Но вообще имеются в виду башмачники, ткачи, половые в трактирах, пастухи, убийцы свиней, солдаты, матросы, почтальоны. «Жаль нет пролетариев, — воскликнул в „Бесах“ Петр Верховенский. — Но будут, будут!» И они пришли, пролетарии, титаны в борьбе с богами (царями, попами, дворянством) по словам Георга Фридриха Юнгера. Но если бы они были «титанами», зачем их просвещать? Зачем образованным людям вещать им буржуазные «братство, равенство, свободу»? Что такое «братство»? Зевс и Посейдон, Кастор и Поллукс? Просто кровное родство? И здесь начинается пляска буржуазной демагогии. Все люди — братья. Позвольте. Почему я должен считать «братом» эскимоса или аборигена Сандвичевых

островов? Или: «это ученый с мировым именем». Но разве его знают дикари Новой Каледонии или посетители соседней пивной? Хорошо еще, что слово «мировой» весьма многозначно. Скажем: «Мировой парень этот врач Анчар Семеныч! Разделявает пациентов, как ты — раков. Поди его выберут мировым судьей.» Понятно, по крайней мере.

Но вернемся к знаменитому лозунгу «свобода, равенство, братство». Его впервые провозгласили торговцы французского города Нанта. Имелось в виду уменьшение непомерных налогов на торговлю ради братства продавца и покупателя и равенство в правах со знаменитой английской Ост-Индской компанией. Свобода? Как сказал Анатолий Франс: «Богатые и бедные одинаково свободны ночевать под мостами». Если вспомнить, что в древности под равенством понималось равновесие золотых весов Зевса в решении судебных людей и племен, а «золотая середина» означала гармонию в человеке, то современная интерпретация покажется весьма странной. Отец Робинзона Крузо, приверженец «золотой середины», советовал сыну не рисковать, вести дела осмотрительно, пусть даже с небольшой, но верной выгодой. При этом не пить, не играть, предпочитать «худой мир доброй ссоре», оставить детям приличное наследство и сойти в могилу с чистой совестью. Не давать денег в долг даже под вернейшее обеспечение. Кто знает, что будет завтра? Случай и судьба — хозяева мира сего. Сегодня твой должник — надежный делец, а завтра, глядишь, он в долговой тюрьме.

Провести жизнь тихо и незаметно, контора — домашний очаг, домашний очаг — контора. Выдался свободный часок — безик или лото, а лучше всего — молитва или поучительная беседа с женой и детьми. И так далее...

В романе Ричардсона (восемнадцатый век) отец рассказывал детям страшную сказку в новогоднюю ночь. Вдруг с разукрашенной елки сорвался стеклянный шар и разбился о голову младшего сына. Вот до чего доводят сказки, вымыслы и прочая злая чепуха!

Мировоззрение такого рода обусловлено страхом перед нищетой и смертью, вернее нищетой и болезнями, потому что смерть для буржуа — только вечное небытие без сновидений, скорей всего. Они (буржуа) зачастую верят в Бога, ибо сие никогда не помешает: во-первых, улучшает репутацию в деловой среде, во-вторых, укрепляет семейные отношения, в третьих, ускоряет и облегчает демагогический порыв, заменяющий вдохновение. Если кто-нибудь фыркнет «ловкач», «лицемер», всегда найдется флегматик, который заявит: «Просто человек умеет жить».

(Необходимо маленькое пояснение: мы вовсе не включаем буржуазию в «классовое общество», которое всегда состояло из духовенства, дворян, купцов и разнообразного рабочего люда, квалифицированного или нет. Буржуазия — это человеческая периферия на границе инферно, которая предана Плутосу — богу Денег, и богине Разума, поясняющей, как деньги наживать. Человек, который полагает, что за деньги можно все купить — буржуа. Человек, который думает, что цель оправдывает средства — буржуа. Крестьянин, который подглядел у приятеля серебряные часы и, перекрестившись, зарезал его («Идиот» Ф. М. Достоевского) — неопытный буржуа. Раскольников, в своем роде, также неопытный буржуа.) Последние позабыли усвоить главные максимы: «Хочешь жить, умей вертеться.», и «Либо всех грызи, либо лежи в грязи». Даже Лужин («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского), по сравнению с Раскольниковым, очень приличный вертун. Нафтула Соловейчик из романа Н. С. Лескова «Некуда» лихо прыгнул на пьяного соседа по комнате, зарезал, взял деньги, исчез, впоследствии стал бароном и финансистом. Талантливый вертун, опытный деловой человек. Скажут: обыкновенный вор и убийца ваш буржуа и ошибутся. Для делового верчения необходимы упругость, гибкость и беспринципность. «Принципы» обусловлены либо дефектами характера, либо дурным влиянием «думающих» субъектов, либо препятствиями, воображаемыми в основном, присущими «ранней стадии буржуазии». Когда-то, в семнадцатом, восемнадцатом веках, буржуа отличались умеренной верой в христианского бога и даже считали, что их денежные успехи способствуют «благу

всего человечества». Этим заблуждением воспользовались фанатики и авантюристы типа Оливера Кромвеля и Робеспьера и устроили кровавую резню под названием «революция», (Кстати говоря, еще одно малопонятное слово из лексикона демагогов.)

Буржуа, наконец, поняли, что законы, правила, принципы, даже сам Господь Бог — все это выдуманно «сильными мира сего» для собственной выгоды. Богатые вправе иметь свои причуды. Если римскому императору Марку Аврелию нравились стоики и скромный солдатский образ жизни, пожалуйста! Император имел на это право. Когда бедность — прихоть богатого, проповедь бедности обретает вес...пока он при деньгах. Но если он по недомыслию теряет деньги — все его постулаты равно обесцениваются. Даже «законы природы» зависят от денежной весомости изобретателя, ибо, вообще говоря, нам решительно все равно имеет ли природа законы?

Нет законов, нет также и беззакония, нет принципов, нет также и беспринципности, нет Бога, нет и безбожия. Надо всегда иметь в виду умеренность, золотую середину. Благородные сословия часто пренебрегали этим качеством, предпочитая очевидную глупость. Бунтарей, пьяниц, дебоширов, юродивых они объявили «борцами и страдальцами за народное счастье», как будто есть другое «счастье» кроме как выпить, закусить и переспать со смазливой бабенкой. Разбойников типа Разина и Пугачева провозгласили «народными героями», а сам народ — это сборище дураков и неудачников — угнетаемым, замученным классом. «Богу — Богово, а кесарю — кесарево», надо понимать так: к божественным добродетелям должно стремиться святым, остальные пусть довольствуются человеческими, то есть буржуазными добродетелями — только важно их верно сообразить. Когда один из героев «Жюстины» де Сада говорит: «Ради выгоды я готов преклонить колени перед этой сволочью, что зовется народом», — он рассуждает по-деловому. Очень недурно поступил еврей Натан (Ярослав Гашек. Бравый солдат Швейк.) Он валялся в грязи перед солдатами, пытаясь продать худую как скелет корову, уверяя, что это «самый тучный бык вавилонский». Чтобы от него отвязаться, солдаты все-таки купили корову. Натан прибежал домой и сказал жене: «Твой Натан очень мудрый, а солдаты — дураки». Маленькая ошибка: никогда никого не стоит называть «дураком», особенно жене. Надо было заявить: «Эти солдаты понимают жизнь. Вот купили отличного быка.»

Упругость и гибкость свойственны змее — мудрейшему созданию природы. Она всегда принимает форму объекта, по которому ползет, оставаясь совершенно чуждой этому объекту. Буржуа равным образом принимает любой образ жизни, не порицая и не одобряя оный. Ему нравится поэма «Двенадцать» Александра Блока, несмотря на несколько обидные строки:

Стоит буржуй, как пес голодный,

Стоит безмолвный, как вопрос.

И старый мир, как пес безродный,

Стоит за ним, поджавши хвост.

Хлесткая, энергичная строфа.

Про себя можно подумать: глубина мысли отнюдь не сильная сторона поэзии. Блок считал буржуазию классом среди других, тогда как она — человечество новой эпохи. Пролетарии и крестьяне

хотят стать буржуа. Это их «светлое будущее». Они вовсе не рвутся, подобно поэтам, в трясину голодных мечтаний:

Разнежась, мечтали о веке златом,

Ругали издателей дружно.

И плакали горько над малым цветком,

Над маленькой тучкой жемчужной...

При этом наверняка голодные, в долгах, в скверной одежде. Вместо того, чтобы поладить с издателем, принять, так сказать, его «форму», они плачут над цветком и тучкой, которые вовсе не нуждаются в хлебе насущном. Все остальные, то есть трудолюбивые искатели хлеба насущного, ничего кроме презрения у поэта не вызывают:

Ты будешь доволен собой и женой,

Своей конституцией куцей,

А вот у поэта — всемирный запой,

И мало ему конституций!

Интересно, как выглядит конституция с хвостом? Уж конечно она непохожа на синичку или воробья. Великий поэт, разумеется, приладит ей павлиний хвост, дабы начертать на нем бесконечные претензии недовольных поэтов. Правда, чтобы не вступать в пререкания с политиками и блюстителями, можно обойтись «всемирным запоем». Но в самом деле: конституция — единственная узда для расхлябанных бездельников, именуемых поэтами. Не стоило бы уделять столько внимания этой публике, но последняя строфа стихотворения «Поэты» уж больно откровенна и живописна:

Пускай я умру под забором, как пес,

Пусть жизнь меня в землю втоптала, —

Я верю: то бог меня снегом занес,

То вьюга меня целовала!

Кроме «бога» и сомнительных «поцелуев вьюги», все правильно. Истинный поэт

должен пьянствовать и сгнуться под забором, либо кончить как-то аналогично. Он

должен знать, несмотря на слезы сердобольных дам и сожаления сентиментальных юношей: время поэзии безвозвратно ушло, поэзия — анахронизм, бездарное времяпровождение. Это

надо принять мужественно, спокойно и помнить слова Шопенгауэра: «Выражать свой гнев или ненависть словами, либо игрой лица бесполезно, опасно, неумно, смешно, пошло.»

Маяковский, констатируя неизбежный конец традиционной поэзии, призывал новых поэтов стать рабочими в своем ремесле, производственниками со своим инструментарием, активистами в борьбе угнетенных классов. («Как делать стихи») В результате он успешно доказал закономерное превращение поэзии в демагогию. Не угадал он только одного: наступление новой буржуазии, которая, благодаря своей ловкости и равнодушной всеядности, поглотит и рабочий класс и классовую теорию вообще.

Мы более не имеем представления о языке. Для нас язык не более, чем знаковая система среди других. Слушая актеров-демагогов или профессиональных острословов, мы рукоплещем и хохочем. Но это фальшивая монета, пародия на эмоциональность, минутная попытка побега от бесконечной скуки.

Жители острова Лапута давно поняли никчемность произносимых слов. Блуждая по острову с мешками за спиной, набитыми разнообразной кладью, они, встречая знакомого, вынимали какую — нибудь вещь, ожидая ответного показа. Один, к примеру, доставал туфли, другой — куртку. Подобные демонстрации длились иногда часами. Таковые свидания приводили зачастую к драке, но, как правило, «собеседники» расходились вполне довольные собой. (Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера.)

Итак: никакой идеологии, окрашенной кровью, никаких вакханалий воображения, ведущих в гениальность и безумие, никаких религиозных споров. Буржуа заранее согласен с доводами каждого. Если надо признать талант пациента сумасшедшего дома, он это сделает с удовольствием. Почему бы и нет? При соответствующей изворотливости и всеядности он проживет с комфортом в любой ситуации.

Онейрические пейзажи

Айвенго

Герой, созданный воображением Вальтера Скотта, может считаться мифическим героем в той же степени как мистер Пиквик Диккенса или Шерлок Холмс Конан Дойла. Мифический герой — тот, кто обращен к нашей душе не в смысле воспитания, ибо душу воспитать нельзя, а в качестве парадигмы, то есть звезды животворного света. Небесная субстанция души (в отличие от субстанции рациональной, анимальной и вегетативной) пронизывается светом, который не теряется, не поглощается и не гаснет, но остается навсегда, независимо от жизненных условий, характера, локальных или глобальных катастроф. В этом смысле миф мифу рознь. Мифы о Геракле, Ахилле, Орфее, Язоне отдаленно сказочны, давным давно потеряли животворный свет и обрели общую занимательность для культурных людей. Мифический принцип перешел в высоко романтическую литературу типа Вальтера Скотта, Байрона, Гюго, Понсона дю Террайля, в новое время к Конан Дойлу и Рафаэлю Сабатини. Можно сравнить Айвенго с капитаном Бладом, но отнюдь не с Ахиллом или с Энеем. Мы в лучшем случае преклоняемся перед героями древности, они доходят до нас как блики крайне далеких и недостижимых звезд качественно иной вселенной, тогда как Айвенго или капитан Блад, несмотря на разделяющие их столетия, несравненно ближе нам, как парадигмы животворного света. Разные эпохи только формально переходят одна в другую, образуя

общее течение человеческой истории, на самом деле они хаотичны, непоследовательны, сталкиваются и уничтожают друг друга, так что легче представить себе историю горностаев, нежели людей. Нас сближают общие понятия, но не смысл этих понятий. «Дама», «любовь», «джентльмен», «победа», «слава», «богатство», «бедность», «честь», «благородство», «великодушные» понимаются каждой эпохой настолько по-разному, что только живущий в ту или иную эпоху может уразуметь их временный смысл. Марк Твен заметил, что если бы леди Ровена и Айвенго заговорили бы привычным языком, то покраснел бы современный грузчик. Типично американское замечание человека, верующего в прогресс и школьное воспитание. В своем романе «Янки при дворе короля Артура» Марк Твен вообще умудрился сотворить из благородных рыцарей Круглого Стола какие-то сорняки позитивизма: его «рыцари» в полном вооружении разъезжают на велосипедах, (ибо лошади слишком дороги), обмениваются скабрёзными анекдотами, устраивают забастовки и революции, пытаются приблизить блаженное новое время.

Вальтер Скотт чужд позитивизму, ему скорее близка наивная патриархальность. Саксонские рабы всецело преданы своим хозяевам, полностью разделяют их убеждения, не задумываясь готовы отдать за них жизнь. Они не чужды соленым шуткам, вольным разговорам, простым нравам, дружеским потасовкам, но знают свое место и привержены старинным саксонским обычаям.

Англия, конец двенадцатого века. Король Ричард Плантагенет, известный по прозвищу «Львиное Сердце», отправился в крестовый поход с лучшими сподвижниками: поначалу дела шли неплохо, была отнята у султана Саладина важная крепость Сен-Жан д'Акр, затем счастье изменило крестоносцам — они потерпели несколько крупных неудач, пришлось возвращаться на родину, кто как может, а сам король Ричард попал в плен к австрийскому эрцгерцогу.

Этим не преминул воспользоваться принц Джон (будущий король Иоанн Безземельный): с группой своих сторонников он решил захватить власть. Его поддерживали рыцари норманны, которые предпочли спокойную жизнь в Англии тяготам крестового похода, значительная часть духовенства, орден тамплиеров и недовольные Ричардом дворяне. Простой народ (в основном саксонцы — коренное население) в общем и целом стоял за Ричарда, законного короля. Саксонские дворяне (таны), не имея возможности восстановить свою династию, тоже склонялись к Ричарду, ибо принц Джон, корыстный честолюбец, был известным притеснителем саксонцев.

Такова историческая линия романа. Айвенго, сын знаменитого поборника саксонцев и ненавистника норманнов Седрика Сакса, тайно возвращается в дом родителя. Тайно, поскольку заслужил недовольство отца участием в крестовом походе, но главное — своей любовью к воспитаннице Седрика, леди Ровене, происходящей по прямой линии от саксонского короля Альфреда. Седрик мечтал выдать ее замуж за другого потомка Альфреда — Ательстана и, таким образом, возродить саксонскую династию. Но увы, леди Ровена, благородная красавица, терпеть не могла увальня и обжору Ательстана и отдала свое сердце красивому и доблестному Айвенго. Главные герои — Ровена и Айвенго — набросаны поверхностно, изящно и элегантно: во-первых, к чему детализировать идеальные фигуры, во-вторых, не углубляясь в психологию, автор хочет представить нам благородство, самопожертвование, доброту, храбрость в напряженном действии, в рискованных ситуациях, оставив описательные подробности юмору, забавам, комическим положениям, нелепостям, промахам, персонажам второстепенным, «людям вообще».

Поэтому столь увлекательны оппозиции между безупречностью Айвенго и надменностью тамплиера Бриана де Буагильбера, жадностью богатого еврея Исаака и милосердием его дочери Ревекки; удалью и пьяной наглостью брата Тука и снисходительным дружелюбием

короля Ричарда; уморительными выходками шута Вамбы и угрюмой серьезностью его друга свинопаса Гурта.

«Айвенго», прежде всего, рыцарский роман, хотя и заполненный массой комических, остроумных, двусмысленных пассажей. Герои не встречаются с драконами и великанами, но человеческие коллизии и междоусобицы зачастую ничуть не уступают напряженностью конфликтам легендарным или сказочным. Роскошный рыцарский турнир блистает мастерски сработанными доспехами, дорогими конями, пестрит драгоценными камнями и шелками, парчой и бархатом дворянских нарядов. Духовенство разодело не менее пышно.

Победителю дано право выбрать среди присутствующих дам «королеву красоты», потому поединки проходят страстно и порой жестоко. Здесь второй раз судьба сталкивает Айвенго и тамплиера Бриана де Буагильбера. Первый раз они встречались в Палестине на турнире, устроенном после взятия крепости Акра, когда сэра Бриан проиграл, по его словам. «случайно, по вине своей лошади». Такая же незадача постигла его во второй раз: в отчаянной схватке с Айвенго лопнула подпруга у боевого коня и сэра Бриан оказался на земле. «Мы еще встретимся», — злобно сказал он.

Причины вражды Буагильбера и Айвенго не объясняются в отличие от климата вражды норманнов и саксонцев, ненависти принца Джона к брату, общей неприязни к евреям, отрицательного отношения к тамплиерам и т. д. Роман полон негативами разного плана — личными, сословными, национальными, что Вальтер Скотт считает типичным для тогдашней эпохи. Алчность, честолюбие, сладострастие, лесть ради выгоды находят свои мишени так же точно, как стрелы Робин Гуда — свои. «То я поганый еврей, — жалуется Исаак, — то великодушный благодетель, который не оставит ближнего в беде.»

Но вернемся к взаимной ненависти Буагильбера и Айвенго, поскольку она касается главного мифа романа и рыцарства вообще. Это миф о чести. Если Айвенго — воплощение чести, то Буагильбер, несмотря на свою храбрость и воинское искусство...

Честь отличает рыцаря от обычного воина или простолюдина. Честь тесно связана с традиционным четырехчастным разделением души на небесную, рациональную, животную и растительную. Честь присуща человеку изначально. Если человек смолоду проявит себя таковым, она символически подтверждается посвящением в рыцари и золотыми шпорами. Она означает не только наличие небесной части души (*anima celestis*), что необходимо каждому духовному лицу, но гармонию этой части с другими, гармонию, основанную на первичности и верховенстве неба над землей. Проще говоря:

человек чести безусловно верен своему слову, своей даме, своему суверену; он ценит роскошь, но равнодушен к ее отсутствию; он любит хорошую еду, пригожих девиц и деньги, но знает, что его жареный фазан всегда может улететь с блюда, девица стать безобразной старой ведьмой, а деньгам ничего не стоит обернуться осенними листьями. Это пример гармонии небесной и рациональной души. Гармония сия (если это гармония, а не просто желание) распространяется на более низкие сферы души (анимальную и вегетативную), придавая человеку совершенную цельность. В отличие от монаха, рыцарь не презирает ни жизни, ни плодов земных. Презрение само по себе заслуживает презрения, полагает рыцарь — подобная максима освобождает от излишней привязанности и от аверсии, то есть отвращения к жизни. Когда Айвенго попадает в дом своего отца к изобильной вечерней трапезе, он замечает несчастного еврея, голодного, истерзанного грозой, которого даже слуги не пускают сесть за стол, умышленно раздвигая локти. «Садись старик, — говорит Айвенго, — моя одежда просохла, а ты устал и голоден». Айвенго, вероятно, разделяет предрассудки своей эпохи, но для него, прежде всего, важно помочь слабому и голодному старику. Когда сэра Бриан приказывает своей мусульманской челяди на рассвете схватить старика (это был богатый еврей Исаак) и отвести в замок своего приятеля, барона Фрон де Бёфа, Айвенго спасает Исаака своевременным предупреждением. На протяжении всего романа Айвенго

ведет себя, как человек высокой рыцарской чести. Когда раненый и бессильный он лежит в осажденном замке Фрон де Бёфа, то говорит ухаживающей за ним дочери Исаака, доброй и милосердной Ревекке, испуганной кровавой бойней: «Ты не христианка, милая Ревекка, не понимаешь, что рыцарские понятия учат нас ценить жизнь несравненно ниже чести. Рыцарь может быть убит, но над его останками, над развалинами его замка солнце чести никогда не погаснет.»

Здесь упрек Айвенго вряд ли справедлив. Добрая, щедрая и отзывчивая Ревекка знает о чести побольше многих христиан — персонажей романа. Скупые и алчные, они готовы на всё ради благ земных: они поддерживают принца Джона только из личной выгоды, в ожидании богатых поместий и важных должностей в случае успеха заговора. Не похоже, чтобы барон Фрон де Бёф убил родного отца ради чести. Маловероятно, чтобы Морис де Браси собрал свою «вольную дружину» для помощи обездоленным и угнетенным. И совсем уж странно искать чувство чести в вероломном нападении на Седрика Сакса и леди Ровену и захвате их в плен тем же Морисом де Браси и Брианом де Буагильбером. Нападение и захват с целью получения выкупа и руки богатой саксонской наследницы более чем понятны.

Норманские рыцари в романе, за исключением короля Ричарда Львиное Сердце, сузили «кодекс рыцарской чести» до минимума: личной храбрости, мастерства владения оружием и мщения за оскорбление, по их мнению, вполне достаточно для славного рыцаря. Исторически это неверно, скорее всего. Но Вальтер Скотт отрицательно относился к норманскому завоеванию Англии и не мог думать иначе. Правда, для успешного развития интриги ему пришлось усложнить образ Бриана де Буагильбера. Это рыцарь храбрый, доблестный и честолюбивый, способный на невероятный для тамплиера поступок: влюбленность в еврейку Ревекку сразу ставит сэра Бриана выше группы его соратников. Способность к чувству истинной любви, неукротимое желание спасти Ревекку из горящего замка, преодолев все преграды на этом пути, свидетельствует о благородстве его натуры. (Этот эпизод побудил художника Эжена Делакруа написать знаменитую, полную экспрессии картину «Спасение Ревекки»). Но Буагильбер, похоже, родился под черной звездой, которая привела его искать убежища в прецептории тамплиеров, где Ревекку немедленно обвиняют в колдовстве, ибо только так она могла соблазнить столь знаменитого рыцаря. Безвыходность ситуации усугубляется неожиданным прибытием короля Ричарда и Айвенго в прецепторию. Назначается «суд Божий». Буагильбера вынуждают выступить на стороне обвинения. Он умоляет Ревекку бежать. Напрасно. Последний раз восходит его черная звезда.

Защитником Ревекки выступает Айвенго. Поединок оказался роковым для Буагильбера. Он умер в момент легкого прикосновения копья Айвенго к его щиту или, по словам Вальтера Скотта, «пал жертвой собственных неумных страстей».

Айвенго — идеальный рыцарь и к тому же саксонец. Писатель просто не мог допустить малейшей его неудачи или промаха. Он абсолютно предан своему суверену — королю Ричарду, абсолютно любит леди Ровену. Поскольку великодушная Ревекка вылечила его от ран, он считает долгом своей рыцарской чести спасти ее, будь она хоть сто раз еврейкой. Ослабевший от потери крови, не весьма готовый к поединку со столь серьезным противником, он пренебрегает подобными пустяками, ибо честь для него действительно превыше всего.

И все же немного жаль сэра Бриана де Буагильбера. Пал ли он «жертвой собственных неумных страстей» или волей романической интриги — непонятно. С самого начала злые случайности преследуют его в поединках с Айвенго. Или же он проигрывает свою жизненную партию потому, что не отличается щепетильностью в вопросах чести? К дуализму Айвенго — Буагильбер недурно подходит строка Вергилия:

Победители милы богам, побежденные — сердцу Катона.

Неистовый и энергичный Рембо

Переводить поэзию совершенно безнадежно — и легкую, и трудную. В легкой поэзии пропадает изящество и легкомыслие, свойственное поэту,

чувствующего легкомыслие языка, в трудной поэзии трудность и глубина отечественного языка подменяется сложностью и непонятностью стихотворной фразы. В результате — запутанная головоломка, составленная из непонимания подлинника и незнания языка, потому что иностранный язык хорошо знать нельзя принципиально. Увиденные глазами двух иностранцев, дожди идут иначе, птицы летают иначе, бомбы взрываются иначе. Эти иностранцы к тому же индивидуально различны. Два непонимания, помноженные друг на друга дадут полную неразбериху, вызовут удивление и переводчиков и поэта. Особенно касается сие современной поэзии, где автор сам желал бы какого-нибудь разъяснения, потому что, уступая инициативу словам, он хотел бы угадать, таят ли какой-либо смысл строки, что зачастую стоило столько труда. «Стихотворение имеет тот смысл, который ему дают», — сказал Поль Валери. Но автор стихотворения может с ним не согласиться: я

чувствую некий смысл, но черт меня возьми, если я его понимаю:

«Я представлял из себя какой-то островок. На моих бортах

Ссорились, галдели, шипели, устраивали гвалт злые птицы с желтыми глазами.

Я, между тем, плыл. И сквозь мои хрупкие ребра

Утопленники врывались спать в мой трюм.»

Речь идет о корабле. О «Пьяном корабле» Артюра Рембо. Но это когда-то было кораблем. Морская стихия истерзала его, превратила в источенное соленой водой бревно, в жалкий обломок, в игрушку ураганов, месяцами торчащую на рифах, либо запутанную в густой листве затерянной бухты:

«Теперь я — суденышко, потерянное под ветвями неведомой бухты,

Брошенное ураганом в эфир, куда не попадает ни одна птица,

Ни мониторы, ни ганзейские парусники

Не выловят из воды жалкий, пьяный каркас.»

Почему корабль пьяный? Потому что нет экипажа, нет рулевого, он блуждает по прихоти волн? В данном случае это лишь начало опьянения. Он еще сохраняет

форму, его еще можно узнать. Но морская стихия постепенно ломает его, разрушает,

превращает в нечто невообразимое: то в плавучий островок, покрытый спутанным рангоутом, где еще угадывается судно, то в гнилой каркас — он всплывает на поверхность или погружается в глубину, не представляя никакой ценности для проходящих судов. Опынение лишило его движения под ветром (паруса сорваны) и направленности (штурвал сломан), превратив в одно из видений морской пены:

«Свободный, словно клочок дыма, поднятый фиолетовым туманом

Я пронзил, точно стену, красноватое небо,

Я принес изысканный конфитюр хорошим поэтам —

Лишайники солнца и лазурную слизь».

Море и небо смешались грозвым водоворотом безумных стихий. «Пьяный корабль» ныряет в пропасть этого водоворота, потом вновь появляется на вершине бури:

«Нелепый кусок дерева, запятнанный электрическими лунами,

Я бежал, преследуемый черными морскими коньками,

Когда июли обрушивали на море

Пылающие провалы ультрамариновых небес!»

Опынение, головокружение, безумие — так приблизительно можно назвать обломок вещи, сделанной когда-то человеческими руками и сохранившую воспоминания об этих руках. Но отражения человеческого конструктивного плана уже полностью искорежены. Чем интенсивней буря играет суденышком, тем безнадежней ломается конструкция, превращаясь в хаос разорванных впечатлений, в слуховое и зрительное месиво:

«Я дрожал, слышав в пятидесяти лье,

Рев бегемотов в течке или хрипы мальстремов.»

...И только, когда корабль превращается «в прядильщика вечного голубых недвижностей», он вспоминает и сожалеет «о старых парашютах Европы». Море постепенно меняет его обличья, это уже не корабль, а галлюциноз корабля. И видения этого миража недоступны никакой трактовке:

«Я видел звездные архипелаги. Я видел одинокие острова,

Чье сумасшедшее небо открыто мореплавателям,

В этих бездонных ночах ты ли, скрытая, спишь

Миллионом золотых птиц, о грядущая Сила?»

Мы попытались, вдохновленные энергией этого стихотворения, приблизительно передать его, вернее обнаружить наше ослепительное недоумение. Понимать «Пьяный корабль» как метафору поэта, чуть ли не как образную биографию — просто, нелепо и неверно. Это ничем не лучше дурацкого мнения: юный Рембо посмотрелся, мол, журналов с картинками и начитался морских романов. Резкий эпатаж стихотворения «Что говорят поэту касательно цветов» тоже, вероятно, заимствован из книжек по ботанике, где встречаются цветы, похожие на стулья, а искателю предлагается:

«Найди на опушке спящего леса

Цветы, подобные оскаленным мордам,

С них капает золотая помада

На мрачные волосы буйволов.»

Рембо не то чтобы увлекался эстетикой безобразия. Слова некрасивые, дурно звучащие, намекающие на уродливые понятия, слова оборванные, с характерным скрежетом, придавали, на его взгляд, особую интонацию стихотворной фразе: шокирующие неопытного читателя, эти слова будировали, насмехались, утверждали свое законное место в языке поэзии и свою обязательность в проблемах колорита, Расширялся диапазон восприятия: если «цветы, подобные оскаленным мордам» не украшают флору, то «оскаленные морды, напоминающие цветы», вполне терпимы и оригинальны.

Слова, провоцирующие эпатаж, образы, намекающие на изначальную непонятность мира, загадочная субстанция мира вообще — любимые приемы и оригинальность взгляда Рембо. Понятность как инерция, понятность как школьная заученность — ненавистны поэту. Сочетать слова в странные фразы, странные фразы в немыслимые отрывки — это суть поэзии по Рембо. Женщина — странное слово, которое ничего не говорит поэту. Поместить это странное слово в климат полной отчужденности — задача поэта:

«Звезда плачет розовоцветно в сердце твоих ушей,

Белая бесконечность кружится от твоей шеи до бедер;

Море рыжеватое жемчужится вокруг твоих румяных сосков,

И человек истекает черной кровью близ твоего царственного лона.»

Это нечто божественное, Афродита, мировая душа, женская субстанция вселенной. Звезды плачут от ее совершенства, золотистый свет жемчугов озаряет ее тело. Это не женщина в обычном понимании, это — Она, тайная возлюбленная сновидений. И т. д. Аллюзий, неожиданных догадок, смутных предположений может быть сколько угодно. Верность их

более чем сомнительна. Возможно, это реминисценция слова «звезда» или неконтролируемое поведение слов на свободе? Одна строка формулирует мировую ось («белая бесконечность кружится от твоей шеи до бедер») двойной спиралью, другая — непонятная, диссонантная («И человек истекает черной кровью...») либо намекает на невероятную трудность в постижении гармонии, либо утверждает независимость нездешней гармонии от здешней мучительной страсти. Но в принципе это домыслы, не более. Научиться читать слова, не привнося в них ни частицы идеологии, читать свободно и свободно забывать — вот первый шаг на пути познания поэзии.

Есть у Рембо стихотворение, рождающее бесконечные идеологические споры. Это знаменитый сонет «Гласные». То ли это личная шифровка поэта, то ли насмешка, то ли аллюзия на высшее алхимическое знание:

«А черное, Е белое, И красное, У зеленое, О синее: гласные,

Я хочу однажды рассказать ваши тайные рождения:

А, черный волосатый корсет ослепительных мух,

Которые жужжат вокруг жестокого зловония,

Бухта тьмы;»

Сжатое в начале, стихотворение обретает энергию восходящего круга. И начале этого круга — слово «ослепительный», относящееся к мухам: В их мерзости, в их страсти к зловонию таится золотая точка трансформации, способная изменить окружающее в сторону гласной «Е». Белое «Е» знакомит нас с пейзажем более светлым и прекрасным:

«Е, белизна облаков и тентов,

Копья гордых глетчеров, белые короли, дрожание цветов;»

Замедленность круга, зачарованность атмосферы, холод полярных стран, белое безмолвие. Недвижность нарушена лишь дрожанием цветов. Но поскольку нет упоминания о ветре, можно вообразить, что цветы дрожат в человеческой руке. При таком допущении, мы сразу входим в сугубо человеческую сферу гласной «И»:

«И, пурпур, кровавый плевков, смех прекрасных губ

В гневе или искупительном опьянении;»

Первые два кватрена завершают круг чисто человеческий — от мух до прекрасных губ. Турбулентии насекомых, кровавые плевки, гнев или пьяное покаяние — все позади.

Стихотворение идет по восходящему кругу. Этот круг расширяется, исчезает в безбрежности, взгляд, теряя точку зрения, постепенно расплывается в мирном горизонте:

«У, циклы, божественная вибрация зеленых морей,

Мир пастбищ, усеянных животными, мир морщин,

Которые алхимия кладет на высокие ученые лбы;»

До сих пор мы имели дело с миром земным. Но завершение, гласная «О», начинает новый, небесный цикл, доступный только алхимикам:

«О, высшая труба, звучащая пронзительными откровениями,

Молчание, пересеченное мирами и ангелами:

О — Омега, фиолетовая лучезарность Ее Очей!»

В этом новом цикле глаза теряют ориентиры, пристальное внимание. Глаза обретают равнодушное спокойствие благодаря необычайной красочности мира, помня, что он неизбежно изменится, пропадет, замененный совершенно иной конфигурацией. Даже если аннигилировать мытарства, присущие миру сему, линии, нарисованные на крыльях его бабочки, напряженно исказятся, а затем застынут в конфигурации нелепых пятен или в сплошной белизне.

Этот мир, скользящий, блуждающий, неопределенный, напоминает Алмею из стихотворения Рембо. (Алмеей в Индии или Египте называют танцовщицу, скрытую от публики полупрозрачным занавесом, либо сновидение, пропадающее из открытых глаз.) Алмеей равно называют душу. Так что многообразие трактовок очевидно и, как часто у Рембо, ни одна из них не имеет превалирующего смысла. Мы безвольно

отдаемся стихотворению, плаваем в его непонятной красоте:

«Алмея ли она? В первые голубые часы

Сгорит ли она, словно огненные цветы...»

Исчезнет ли этот призрак, видение, женщина? В нашей памяти никогда, потому что нас пленяет неопределенная красота ее имени, а не значение в энциклопедии. Мы не знаем ее внешности и не хотим знать. Преходящая внешность зависит от десятков внешних и внутренних причин — от возраста, одежды, окружения, настроения, атмосферы... Сфера ее влияния очень невелика и во многом реагирует на наш темперамент. Тогда как имя в его бесконечных ассоциациях остается навсегда — то ли полузабытым воспоминанием, то ли яркой жизненной звездой, то ли дразняще неопределенным, но мучительным капризом.

Судьба Алмеи не имеет значения: «Сгорит ли она, словно огненные цветы?»

«Перед этой роскошной необъятностью, где чувствуется

Дыхание безмерно расцветающего города!»

Может, этот город имеет название, скорей всего, нет. Неудержимость амбиций Рембо часто перехлестывает это мир:

«Это слишком прекрасно! Это слишком прекрасно!»

Но здесь насущная необходимость в понимании поэта. Для кого, для чего? Необходимо для грешницы или песни корсара. И еще. Чтобы последние маски верили в праздники ночи на светло море! Таково понимание необходимости в мировоззрении поэта. Явление Алмеи дает стройную композицию ирреальному и неведомому пейзажу.

Стихотворение непонятно, однако удивительно лирично для чуждого и враждебного Рембо. Вообще, лиризм для него — один из холодных стилистических приемов. Он не любит людей и, за редким исключением, чуждается какой бы то ни было близости. «Любовь надо изобрести заново», — одно из классических его выражений. Во фрагменте из «Озарений» под названием «Н» — один из примеров подобной любви. («Н» — произносимо по-французски)

«Все формы монструозности терзают горькие жесты Ортанз. Ее одиночество — механическая эротика, ее утомление — динамическая любовь. Под охраной детства она была в многочисленных эпохи пылающей гигиены рас. Ее дверь открыта нищете. Там мораль современных существ распадается в ее страсти или в ее акции. О ужасное дрожание новых любовников на окровавленной почве, затянутой белым водородом! Ищите Ортанз.»

Сказать, что это таинственно, загадочно, сверхнепонятно, мистериально — ничего не сказать. Подобная поэзия даже не для поэтов — неизвестно для кого.

Лорд Джим

«Шкипер бесшумно поднялся на мостик; он был в пижаме, и широко распахнутая куртка открывала гоую грудь. Он еще не совсем проснулся: лицо у него было красное, левый глаз полузакрыт, правый, мутный, тупо вытаращен свесив свою большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то непристойное в этом голом теле. Грудь его, мягкая и сильная, лоснилась, словно он вспотел во сне, и из пор выступил жир. Он сделал какое-то профессиональное замечание голосом хриплым и безжизненным, напоминающим скрежет пилы, врезающейся в доску; складка его двойного подбородка свисала, как мешок, подвязанный к челюсти; Джим вздрогнул и ответил очень почтительно; но отвратительная мясистая фигура, словно увиденная впервые в минуту просветления, навсегда запечатлелась в его памяти как воплощение всего порочного и подлого, что таится в мире, нами любимом:

оно таится в наших сердцах, которым мы вверяем наше спасение; в людях, нас окружающих; в картинах, какие раскрываются перед нашими глазами; в звуках, касающихся нашего слуха; в воздухе, наполняющем наши легкие.»(Джозеф Конрад. Лорд Джим)

Это шкипер парохода «Патна», перевозящего восемьсот паломников-мусульман через Персидский залив в Красное море. Пароход обслуживают четыре человека: шкипер, два механика и молодой штурман Джим — герой повествования. Со шкипером всё понятно. Механики — замурзанные выпивохи, мечтающие о стаканчике виски в аду своего машинного отделения. Во времена Конрада таких субъектов было полно в каждом порту от Индокитая до Малайских островов: наглые, пьяные, трусливые, ненавидящие свою работу, они мечтали только об одном: завалиться под стойку бара и проснуться, еще пьяными, под стойкой другого бара да так, чтобы нежданный приятель сторожил их пробуждение со стаканом в руке.

Вся эта нелюдь, несмотря на беспрерывную ругань и ссоры, отлично находит общий язык. Их соединяет, спланивает, склеивает нечто общее, некий животный магнетизм, свойственный кускам человеческого мяса. Свое, родное, общее — слова, быть может лишённые смысла, но

одинаковые — их не разрубить, не разорвать. Капитан и механики могут не понимать друг друга, строить друг другу всякие каверзы, говорить за спиной каждого всевозможные мерзости, предавать, продавать, но все они...

свои .

Джим — элегантное недоразумение этой братии. Молодой, широкоплечий, с голубыми, немного мрачными глазами, в безукоризненном белом костюме, он не то чтобы не замечал остальных членов команды, он их холодно учитывал, не более того. Сын простого английского пастора, он поехал на Восток потому, что ему было скучно дома, потому, что закончил морскую школу, а вообще непонятно почему.

Он был одним из наших, повторяет капитан Марлоу, нарратор повествования, заинтересованный Джимом на дознании в суде.

В суде. С пароходом случилось бедствие в ночную вахту Джима. В душной, вязкой, штилевой тишине пароход вдруг

перекатился через что-то совсем незаметно, словно, сказал Джим, змея переползла через палку. Переборка, разделяющая носовое отделение от трюма, сломалась, трюм наполнился водой. А на палубе, приткнувшись по разным уголкам, мирно почивали восемьсот паломников. Положение катастрофическое. Капитан и механики слегка посуетились и кинулись в шлюпку. И здесь для Джима наступила лимитная ситуация. Сигналы бедствия подавать бесполезно — горизонт пуст, паломников будить бесполезно — на пароходе оставалась еще только одна поврежденная шлюпка. И здесь Джим прыгнул в шлюпку, где сидели капитан и механики. Не понимаю как это получилось, невольно, бессознательно, в каком-то забытии, в какой-то секундной безотчетности, — так впоследствии он пытается объяснить свой поступок капитану Марлоу. Так один прыжок в шлюпку дает резон и написанию романа и гибели жизни Джима. Джозеф Конрад возвращается к проблеме чести, которую рыцарская Европа присоединила к «идеям» Платона. Это нечто сугубо неуловимое. Честь невозможно растолковать, запятнать, частично сохранить, искупить, невозможно спасти. Это непонятное, загадочное, незримое, главное проявление души в теле, которое делает человека человеком,

одним из наших. Значит ли это, что капитан Марлоу снисходителен к Джиму и считает, что тот преувеличивает и слишком беспощадно к себе относится? Нет. Марлоу просто хочет ему помочь, полагая: вдали от родины, в работе, в сутолоке юго-восточных портов боль станет

менее остра, угрызения совести менее жгучи. Тем более, обстоятельства благоприятствуют тому: пароход «Патна» неожиданно спасает от потопления французское сторожевое судно, товарищи Джима по экипажу исчезают неизвестно куда. Лишенный на суде штурманского свидетельства, Джим устраивается в торговой фирме «судовым клерком» и отлично справляется с этой работой. Судовой клерк обязан выплыть на катере или парусной лодке навстречу входящему в гавань кораблю и первым вручить капитану проспект своего торгового дома. Ловкость и сноровка почти всегда приносят удачу Джиму, хозяева им довольны. Но.

В его душе продолжают тлеть угли потерянной чести. Их ничем не погасить, воспоминания только оживляют их. Капитан Марлоу чувствует жестокую угнетенность Джима и боится худшего: «Тут мне пришло в голову, что из таких, как он, вербуются великая армия покинутых и заблудших, — армия, которая марширует, опускаясь все ниже и ниже, заполняя все сточные канавы на земле. Как только он выйдет из моей комнаты, покинет это „убежище“, он займет место в рядах ее и начнет спуск в бездонную пропасть.» Да, думает Марлоу, в силах ли вообще что-либо реально помочь человеку, особенно такому сложному и тонкому, как Джим? «Лишь пытаюсь помочь другому человеку, замечаем мы, как непонятны, расплывчаты и туманны эти существа, которые делят с нами сияние звезд и тепло солнца. Кажется, будто одиночество является суровым и непреложным условием бытия; оболочка из мяса и крови, на которую устремлены наши взоры, тает, когда мы простираем к ней руку, и остается лишь капризный, безутешный и ускользающий призрак; нам он невидим, и ничья рука не может его коснуться.»

Но Джим еще очень молод и вряд ли может разобраться в своем несчастье. Так ли уж оно непоправимо? То выражение неуклонной решимости искажает его лицо, замечает Марлоу, то он снова похож на славного мальчугана, попавшего в беду, растерянного, наивного, но не желающего сдаваться. Он ловит подозрительные взгляды, ему кажется, что в каждой пивной обсуждают его несчастье. И поскольку так жить нельзя, его неожиданно подхватывает секундная волна оптимизма: ведь можно сделать то и се, можно, в конце концов, начать жизнь сначала! Из пропасти отчаянья к смутной надежде, от смутной надежды к усталому наплевательству. Он не очень понимает, что такое честь и пуще всего боится, что его поведение на «Патне» объяснят трусостью или паникой.

Его колебания, страхи и метания имеют известный резон: история с «Патной» обрастает дикими сплетнями и Джима все чаще узнают в портах юго-восточных морей: «это тот самый, который...» В конце концов, капитан Марлоу знакомит его со своим другом — голландцем Штейном. Тот устраивает Джима торговым агентом на Целебес(Малайские острова). Назначение более чем странное, поскольку совершенно непонятно, что там делать белому человеку вообще. Каноэ Джима пробирается по довольно широкой реке Патюзан от берега океана до центра острова; на многочисленных рукавах реки разбросаны туземные поселения; гнилые заводы полны стволов деревьев, которые на поверку оказываются аллигаторами; далеко вдали мерцают голубые вершины гор, неповторимо красивые в оранжевом сиянии рассвета или заката. Посреди мрачных туземных гребцов сидит Джим с незаряженным револьвером на коленях — патроны он забыл на борту шхуны, но его не особо беспокоит сие обстоятельство. Главное — он покинул белых людей — жизнь среди них невыносима. Здесь, среди чуждого народа, он сумеет себя показать. Сначала его доставляют к местному радже — трусу, безумцу и опиоману, способному на самую нелепую и жестокую выходку. Страшась белого человека, раджа собирает советников, таких же оригиналов как и он сам, дабы решить его судьбу, а пока что держит Джима в яме, куда ему кидают раз в три дня горстку прогорклого риса и тухлую рыбешку. Радже не терпится убить Джима, правда он боится гнева далекого, но всемогущего голландского правительства. Заседание продолжается около недели, совет не может придти к удовлетворительному решению, Джиму осточертело сидеть в яме, он выползает по грязи и отбросам, перелезает через частокол, попадает в болотный ил Патюзана. На его берегу, недалеко — два холма-близнеца, разделенные узким ущельем.

Дорамин, человек, к которому направил его голландец Штейн, живет у ближайшего. Джим, невысказанно грязный, в изодранной одежде, добирается, наконец, к нему и вручает серебряное кольцо от Штейна. На счастье Джима, Дорамин пользуется большим авторитетом у местного населения. Закутанный в роскошный саронг, огромный и массивный, он сидит целыми днями в кресле и слушает щебет своей худенькой жены.

Положение в стране весьма беспокоит. На отдаленном холме-близнеце раскинулся лагерь мятежников — некий «шериф Али» терроризирует местное население. Джим проявляет замечательную энергию: при помощи сына Дорамина, с которым он подружился, гость забирает у Дорамина несколько старинных железных и медных пушек, заставляет туземцев втащить их на ближайший холм и в одно прекрасное утро расстреливает лагерь. Даже сам царственно-неподвижный Дорамин повелел доставить себя в кресле на холм, дабы понаблюдать разгром мятежников.

После случая сего влияние Джима возросло необычайно. Его стали уважать как человека, который «всегда держит свое слово». К нему обращались с крупными делами, с просьбами рассудить споры или мелкие и никчемные дразги. Один восьмидесятилетний старик, задумав развестись со своей ровесницей женой, затруднился при разделе семейного имущества, состоящего из медного горшка. Джим посоветовал распилить горшок. Старик несколько дней старательно пилил, потом плюнул и отдал горшок жене.

У него появились льстецы и недоброжелатели. Одни называли его «тюаном Джимом» (что означает «господин» или «лорд»), другие старались не встречаться или отворачивались при встрече. Враги попадались пустяковые и более серьезные. Раджа, к примеру, страстно желал его отравить, подсыпав яду в кофе, но каждый раз рука застывала — раджа во время вспоминал о страшной мести всемогущего голландского правительства, хотя за последние пятьдесят лет ни один представитель этой таинственной организации не посещал реки Патюзан.

Джим женился на черноволосой, черноокой, стройной девушке, которая любила его безумно и тревожно: она была убеждена, что рано или поздно ее возлюбленный вернется в «мир белых людей» и сторожила, пока он спал, чуть не каждую ночь. Равным образом, у хижины сторожил преданный слуга, который добровольно взялся его охранять. Но каждый раз, когда Джим вспоминал роковой прыжок в шлюпку «Патны», своих товарищей по пароходу, он содрогался, душу вновь разъедали угрызения совести, «мир белых людей» казался то омерзительным, то чуждым и нереальным сравнительно с нынешней простой и незамысловатой жизнью. И потом, как ледяная змея, в голову заползала мысль о собственной трусости, бесчестии, подлости. Он — изгой, кошмар среди людей, белых или цветных, ему вообще нет места в любом из возможных миров!

Капитан Марлоу перед тем, как собрался навестить Джима, имел долгий разговор со Штейном по его поводу. На прощанье Штейн сказал: «Что заставляет его так мучительно познавать себя? Что делает его существование реальным для вас и для меня?»

После визита Марлоу нежданная беда обрушилась на Патюзан. Шхуна некоего пирата Брауна случайно наткнулась на устье этой реки: ватага головорезов в понятных надеждах поднялась вверх по реке, расстреливая всех, кто попадался на пути, поджигая жалкие дома туземцев, требуя выкупа, грабя, разоряя, уничтожая. Они расположились на холме в старом лагере «шерифа Али», требуя от пришедшего на переговоры Джима золота и драгоценностей, выдвигая прочие фантастические условия. Джим показал себя. Собрав боеспособных туземцев, он плотно окружил Брауна и не давал ему покоя ни днем ни ночью. В конце концов Браун, очутившись в безвыходном положении, обещал вернуться на свою шхуну и не беспокоить более население. Джим послал ему вслед разведчиков и дал слово

жителям, что никто отныне не пострадает от пиратов. Но злая судьба решила иначе. Спускаясь по реке, озлобленные пираты время от времени стреляли в разведчиков — шальная пуля убила друга Джима, сына Дорамина. Огромный и величественный Дорамин дал себе труд подняться с кресла и в упор выпалил из кремневого пистолета в Джима — нарушителя слова.

Так кончилась проблематичная земная реальность тюана (лорда) Джима. Выходец из простой семьи, сын пастора, он обладал душой истинного дворянина. В сущности, его жизнь прекратилась после катастрофы с «Патной», вернее, он потерял право на жизнь. Примириться с этим невозможно. Его существование превратилось в многочисленные попытки самоутверждения, в желание убедить себя в собственной ценности. Такой стиль жизни гибелен: не кому-то что-то доказывать, ибо мнение других в расчет не принимается, а найти в глубине собственного «я» секретное «да», тайное, но безусловное оправдание единичному поступку и жизни вообще. Это в какой-то мере соответствует понятию «чести», но Джиму сие не удалось. Его жизнь проходит в постоянном сомнении, смена декораций ничего не меняет. Джозеф Конрад сравнивает неопределенность «чести» с неопределенностью «истины»: «Честь подобна Истине, а Истина плавает, ускользающая, неясная, полузатонувшая в молчаливых неподвижных водах тайны.»

Доктор Шренк-Нотцинг и потусторонняя терапия

«Платок заколыхался и воспарил над паркетом, поднимаясь из глубины тени, розовея в красном цвете лампы. Я сказал „воспарил“, это неверно: его взяли и вознесли. Платок зажали двумя или тремя пальцами, мяли комками, потом аккуратно опустили на прежнее место» (Томас Манн. Оккультные переживания.)

«Дверь кабинета полуоткрыта. Женская фигура, задрапированная сиреневой тканью, боком пробирается в гостиную. Ей чуть-чуть неудобно — мешает развитая грудь, но в то же время складки покрывала свободно пересекают массивность двери. Странно. Гости переглядываются — нет, никто прежде её не видел. Она подходит ко мне — чувствую полное оцепенение и порыв свежего, напоенного сиренью воздуха. Касается ладонями моих висков. Зверская мигрень, которая мучила меня целый день, затихает. Она удаляется в сторону большого старинного зеркала и пропадает. После сеанса зеркало подёрнулось какой-то серебряной испариной и более ничего не отражало» (Вальтер Ратенау. Любопытные факты из моей жизни).

Много весьма знаменитых людей посетило сеансы доктора Шренк-Нотцинга, среди прочих Бергсон, Гессе, Рильке, Конан Дойль, из чего следует: этот доктор также субъект небезызвестный. Однако слава славе рознь. Он занимался делами столь рискованными, что снискал репутацию учёного сомнительного, если не inferнального.

А ведь всё началось вполне благополучно. Будущий «шарлатан и самозванный профессор», барон Альберт фон Шренк-Нотцинг родился в 1865 году и великолепно защитил диссертацию по «редким случаям паранойи» в Мюнхенском университете в 1890 году. Очень успешно занимался лечением нервных и сексуальных расстройств в немецких и швейцарских клиниках, крайне интересовался экспериментами Уильяма Крукса и Вильгельма Цоллера и других известных спиритуалистов. (Спиритуализм и материализация духов суть высокая наука; спиритизм, скорее, развлекательное времяпровождение).

Первый скандал вызвала его работа «Онанизм и музыка ангелов» (1905). Книгу запретили, автора привлекли к суду, в тюрьму, правда, не посадили, ограничились денежным штрафом. На современный взгляд вполне спокойное, интересное исследование. Сомнительным

показалось вот что: автор считает онанизм лучшим эротическим занятием для застенчивых мечтателей, склонных к воображаемому реваншу за поражения в суетливом и враждебном внешнем мире. Книге предпослан изысканный эпиграф из поэта немецкого барокко Каспара фон Лознштена: «Разве нищая истина сравнима с ложью? Ложь, не трогая цветка, даёт вкусить самые роскошные плоды». Шренк-Нотцинг отрицает, что в грёзах эротоманов отражается реальная женщина, реальный мужчина. По его мнению, перед внутренним взором возникает собственная душа, которая всегда противоположного пола; эта «душа» принимает иногда знакомый облик, не более того. Подобные соображения, усложненные, дополненные удивительными примерами, повторились затем в его двухтомнике «Феномены материализации» (1910, 1918).

Не будем пересказывать известную историю о двух американках, сёстрах Фокс, и победном шествии спиритизма в Новом, затем Старом Свете во второй половине XIX века. Стоит упомянуть следующее: спиритизм поразительно совпал с перспективными открытиями в области электромагнетизма, и многие физики, в том числе Максвелл и Эдисон, очень тесно соединяли эти явления, которые были преданы анафеме в энциклике папы Пия X. Вплоть до двадцатых годов XX века Ватикан игнорировал электрическое освящение. Ломброзо, Уильям Крукс, Рише, Цолльнер превратили развлекательное «столоверчение» (это неточно: вертят не стол, а «планшетку» — большой круглый картон с алфавитом) в науку, искусство, веру под общим названием «спиритуализм». Разница весьма существенная: если спириты толковали и систематизировали беспричинные стуки и шумы, вернее, паранормальные сонорные эффекты, то спиритуалисты с помощью медиумов и сложной аппаратуры пытались проникнуть в беспредельность потустороннего и не только связаться с обитателями оного, но и представить их, так сказать, во плоти.

О феноменах материализации заговорили уже в семидесятые годы XIX века после манифестации «великой Кэти Кинг», одной из самых ярких «аппариций» (явлений призраков) за всю историю движения. Она материализовалась на десяти сеансах, у неё взяли интервью, в котором она совершенно отрицала роль электричества и признавалась в совершенном непонимании происходящего. Куда она исчезает после растворения в воздухе? В медиума. Помнит ли что-нибудь о своей земной жизни? Очень мало. Жила при дворе короля Карла I под именем Анни Морган, её зарезали солдаты Кромвеля. Не осталось ли следов смертельного ранения? Кэти Кинг показывает едва заметный рубец на левом боку.

За три буржуазных века не было, вероятно, события более странного, нежели материализация призраков. После первых потрясений началась кампания тщательных и дотошных проверок — обыскивали помещение до и после сеанса, специальных часовых ставили у дверей и окон, пальпировали тело и одежду медиумов. Когда проверка завершалась успехом, то есть вытаскивали «призрака», к примеру, из стенного шкафа, пресса ликовала. «Создавалось впечатление, — писал Густав Майринк в эссе „На границе потустороннего“, — что спиритуалисты покушались на святая святых цивилизованного человека — на право быть только куском плоти, после смерти гниющим в земле стопроцентно и окончательно».

Однако на пустом месте шарлатанство не возникает, необходим хотя бы один подлинный факт. К досаде позитивистов, подобных фактов набралось слишком много. Поразителен случай обращения в спиритуализм Артура Конан Дойля. Он всегда был рационалистом и скептиком. В 1915 году брат его жены отправился во Францию на фронт, через месяц пришло известие о его гибели. Ещё через месяц, однажды на раннем рассвете писатель заметил в ногах кровати смутный мерцающий силуэт. Призрачный человек подошёл к столу, что-то начеркал, затем пропал, рассеялся, растворился. Тем не менее, Конан Дойль узнал родственника. На записке значился цифровой код камеры хранения лондонского вокзала Чаринг-кросс. Там оказался саквояж с семейными ценностями, письма, чековая книжка. Этого кода никто знать не мог — писатель провёл тщательное расследование не хуже своего знаменитого героя. Пришлось исключить все версии кроме потусторонней. С тех пор Конан

Дойль стал убеждённым спиритуалистом. Один из его биографов выразился так: «Что сказал бы Шерлок Холмс, узнав об этом?»

Несмотря на очевидную невозможность рационального объяснения «медиудизма», социологи, терапевты и, разумеется, психиатры пылливо изучали характер, образ жизни и склонности обладателей этой странной способности. Вывод: медиумы, как правило, люди простые, молодые, ничем особенным не блистающие — бухгалтеры, машинистки, зубные техники, садовники, словом, обслуживающий персонал. Никто из них толком не знает, почему он — медиум. Франц З., один из первых медиумов доктора Шренка-Нотцинга, сказал: «Я умею засыпать очень быстро и в любом месте, иногда фрагменты моих снов видят окружающие». Вили С., его другой медиум, простодушно признался: «В состоянии транса не вижу никаких снов, потом, кроме сильной головной боли и ломоты в суставах не чувствую ничего». Знаменитая Клэр П., причина манифестации Кэти Кинг, вообще ничего толком ответить не смогла. Шренк-Нотцинг писал в первом томе «Феноменов материализации»: «Перед сеансом и во время сеанса медиум трансформируется в другое существо. Несмотря на многолетний опыт, я не рискну определить природу этого существа. О себе скажу: во время сеанса я чувствую неразрывную связь с медиумом, даже пребывая в другой комнате. Не берусь ничего объяснять, равно как никогда не могу предсказать, что именно материализуется».

Франсуа Рабле назвал человека *bestiae explicatorum*, «зверем объясняющим». Человек не успокоится, пока не найдёт более или менее сносных объяснений тому или сему, и его не смущает постоянная неудовлетворительность таковых. Спиритуализм анализируют более ста лет и, несмотря на более благоприятные условия, нежели в эпоху НЛО, куда учёных не приглашают, результат приблизительно аналогичен. Всякий факт, всякий поворот действия имеет своё название, но это всего лишь опознавательный знак. На всех европейских языках изданы словари и энциклопедии спиритуализма, блистающие словечками типа: аппорт, деспорт, перкуссия, реперкуссия, эктоплазма, кататранс, гипертранс, тангентальная транспластика и чёрт знает, чем ещё.

Аппорт, к примеру, это появление во время сеанса объектов безусловно чужеродных: тропических зверей и птиц, огромных пауков, рыцарских доспехов. Деспорт: свободное, прихотливое плавание в пространстве зала или кабинета медиума или «аппараций»; зигзагообразное движение брошенного яблока или подсвечника.

Всё это проявляется мгновенно и пропадает довольно быстро. Однако история спиритуализма знает несколько уникальных аппортов. На сеансе Уильяма Крукса «великая Кэти Кинг» по его просьбе отрезала прядь волос на память. Эта прядь никуда не исчезла и осталась у английского спиритуалиста. Доктору Шренку-Нотцингу призрачный хирург подарил удивительный скальпель, который не резал, но «замыкал» края рваной раны, устранял язвы и нарывы одним прикосновением. Об этом чуть позже, сейчас остановимся на важнейшем понятии «эктоплазма». Энциклопедическое толкование: «Аморфная масса разной степени концентрации, где образуются телепластичные структуры и формы». Не очень-то понятно, однако объяснить действительно трудно. Одни считают эктоплазму невидимым «испарением», выходящим изо рта и ушей медиума в состоянии транса, другие — волновой активизацией его «астрального тела», третьи — биомагнитной напряжённостью «ауры». Это даже не попытка определения, но словесная игра в прятки с непостижимым. Рене Генон в книге «Заблуждение спиритуалистов» процитировал около двадцати интерпретаций эктоплазмы, одно другого чудней. Тем не менее, совершенно ясно: без присутствия эктоплазмы материализация принципиально невозможна. Вероятно, загадочной эктоплазме присуща та или иная степень энергетической концентрации, иначе как объяснить туманную отвлечённость, фрагментарность или яркую целостность аппараций?

Доктор Шренк-Нотцинг в своей книге и не пытается растолковать неведомое. Он считает событие спиритизма, затем материализации неожиданным результатом иррациональных

взаимодействий двух миров — потустороннего и реального: «Мы не можем убедительно объяснить, почему в контакте специально обработанных поверхностей свершается чудо огня, вспыхивает спичка. Смешно требовать от медиума, чтобы он открыл тайну эктоплазмы. Даже под пыткой человек не скажет, почему он блондин, а не брюнет».

Шренк-Нотцинг — единственный из мастеров спиритуализма занимался «врачебной практикой», если подобное выражение уместно в данном случае. Роль его сводилась к суггестии диагноза. Доктор с первого взгляда знал, страдает ли кто из посетителей сеанса пустяковым недомоганием или серьёзным недугом. Если материализация удавалась, он обращал внимание потустороннего гостя или гостьи на больного, часто без всякого эффекта. Но иногда лёгкое прикосновение, несколько непонятных слов приводили к полному излечению, причём посетители приписывали выздоровление счастливым обстоятельствам или Божьей воле. При постоянных обвинениях в шарлатанстве, Шренк-Нотцинг разумеется не спешил знакомить медицинскую общественность со своей невероятной терапией. Только через много лет в «Мемуарах» доктор немного рассказал об этой странной практике. Пользовался ли он своим магическим скальпелем или эликсиром долголетия того же происхождения неизвестно. «Мемуары» барона Альберта фон Шренк-Нотцинга (1930) встретили полное и враждебное молчание учёной Европы. После прихода к власти нацистов доктор уехал из Германии, с тех пор о нём никто ничего не слышал.

Для здравомыслящих людей его книги — издевательство либо паранойя. В потустороннюю терапию верили и верят медики совсем уж альтернативные. Но если нам надоело звание «зверей объясняющих», давайте превратимся в *bestiae idiota*, «зверей простых, простецких».

Мак

Вегетация лишь по касательной задевает род людской, ибо ответственна за функциональность живого пространства вообще. Недаром панорамы других планет не вызывают оптимизма, надо полагать, даже у черепах. Вегетация принципиально образует жизнь, поскольку растения разветвляются любыми видами: зоофиты и рдесты — почти животные, мандрагоры — почти мужчины и женщины, кораллы — почти минералы, гвинейские шары-одуванчики — почти птицы. Когда рационалисты делили природу на явь и сон, посю- и потустороннее, жизнь и смерть, они не учитывали вегетацию, для которой никаких границ не существует. Одни растения освещают ночь — люминарии джунглей Амазонки, австралийские грибы-«светофоры» — другие дурманят жуткими фантазмами — африканские сомниферы-клеоптерисы. Альый мак наших широт (*Papaver rhoeas*) очень мягко, очень нежно уводит нас за границу в страны снов.

Растение это вполне уникально с любой точки зрения — философической, медицинской эротической. Морфей, повелитель сновидений, подарил цветы мака богиням ночи и плодородия — Персефоне, Деметре и тёмной, «медовой» Артемиде Мелеос. Морфею эти подарки ничего не стоили — «чёрные колонны его дворца», согласно «Метаморфозам» Овидия, окружены буйным багряным цветением:

Antefores antri fecunda papavera florent...

В преддверии царства Морфея роскошные маки цветут,

Ночь молоком этих маков орошает леса и вершины...

Мак — цветок женской любви, с этим согласны древние сказанья и преданья, греки даже называли его дефилон — «любовный шпион». Девушки давным давно привыкли с ним советоваться касательно замужества. Большой и указательный палец левой руки соединяют колечком, помещают на это колечко маковый лепесток и ударяют правой ладонью — по громкости и тембру звучания определяется степень чьей-нибудь любви. Или: в начале прогулки девушка дарит избраннику два цветка и шепчет про себя: «деос флорас мадеос». При слабом чувстве или корыстной симпатии в конце прогулки маки увядают на глазах. Мак не только «любовный шпион», но и лучшее лекарство от несчастной любви. Достаточно, считает немецкий поэт Уланд, заснуть в маковом поле: «После пробуждения посетит тебя блаженное безразличие. Долго-долго близкие и любимые будут тебе казаться призраками». Таких рекомендаций и обычаев предостаточно, однако действуют они только в пользу прекрасного пола, поскольку мак с древних времён именуется «женским фаллосом» (phallos feminae). Об этом несколько позже.

В новую эпоху вегетация подверглась агрессивному научному анализу, маку вообще не повезло. Его онирические, сомнамбулические, сомниферные, усыпляющие свойства стальной цепью приковали учёное внимание. Имя Франца Сертурнера неизвестно публике, его не найти в большинстве энциклопедий, и всё же это один из благодетелей человечества, один из инициаторов искусственного рая. Этот ганноверский аптекарь в 1804 году получил из мака алкалоид морфин. Обрадованные фармацевты решили не останавливаться на достигнутом и в последствии «вытянули» из пурпурного чуда кодеин и героин.

Здесь надлежит немного пофилософствовать. Для очень и очень многих опиум в частности, маковые алкалоиды вообще — божественная панацея. Прочь отлетают надоедливые заботы; денежные неудачи и любовные разочарования теряют остроту перед спокойным упоением сновидческого бытия. Голод, холод, боли затихают, телесная функциональность меняется: кожа — только для шприца, губы — только для курительной трубки, тело распадается в синем, едком тумане, subtilно-сомнабулическая персона уходит в нирвану. Так? Если бы. Но надо вновь и вновь тащиться в банк или фирму, играть трудную роль человека от мира сего, а если ты беден, возвращаться на заплёванную улицу, одалживать, воровать, клянчить деньги, чтобы ещё раз дорваться до спровоцированного блаженства. И это еще полбеды. После частых употреблений опиума и при неожиданном прекращении таковых реальный мир врывается ужасающей банальностью, тускнеет, мрачнеет и теряет последние оттенки цветного панорамного сновидения, которое хоть как-то с ним примиряло. Девичья кожа утрачивает насыщенную нежность, снег — многоплановую белизну, ручей — игривую мелодию, шум леса — сложные обертона, любимая работа — всякий интерес. Зато тяжелый и грязный труд выигрывает в своей тяжести, грязи, надоедливости и удрученности, постепенно вытесняя мысль, что кроме него что-нибудь существует. Сновидения исчезают, а если и снятся подъемные краны, бульдозеры и забетонированные пустыни, то они еще скучнее, нежели в реальности. Один русский поэт (не помню кто именно) написал странные строки:

Да остынет горячая кровь

Лепестками обугленных маков!

Если представить кровь водопадом пышных багряных цветов, то ее остывание, ее смерть будет выглядеть именно так. Что означает «смерть крови»? Совсем не прекращение функционирования тела. Последнее может двигаться еще лет пятьдесят среди кастрюль, ржавых кроватей, чердаков, помойных баков, сломанных автомобилей, слепых калек и хромым кошкам. Но зачем такая обстановка? Если немного повезет, мы сможем блуждать среди хризантем, летать на модные курорты, гоняться за павлинами, замирать в чьих-либо роскошных объятьях, блистать на ослепительных раутах, пока серые призраки скуки, тоски, разорения, отчаянья, страха смерти не обступят нас со всех сторон предвестием вечной ночи.

Устрашающее число наркоманов в наше время неудовлетворительно объясняется темпом, стрессами, условиями жизни, как будто эти самые «условия» — нечто под солнцем новое. Белая цивилизация выдохлась, надо полагать. Сейчас больше говорят о «выживании», нежели о жизни, все больше усталых детей рождается от усталых родителей, отношение к бытию потеряло активный характер и приобрело вяло-реактивный. Люди тратят куда больше усилий, чем когда бы то ни было, дабы оживить общественную кровь, но эти усилия, как правило, спровоцированы стандартными магнитами — деньгами, должностями, почестями, словом, «положением». Никто не хочет оставаться самим собой, все хотят быть выше, лучше, сильнее, богаче. И у кого нет энергии и желания ввязываться в эту сумятицу, спешит в объятья жестоких богов вселенной сновидений. Но они скорее двойственны, нежели жестоки. Английский поэт Дилан Томас в поэме «Переход через маковое поле» мало того, что набросал суетливую, энергичную, беспокойную жизнь цветов, он представил еще мысли заключенного, который кроме ворон да пауков не общается больше ни с кем. Непонятно, сидит ли он в тюрьме или в добровольном одиночестве. Читая Платона и других греческих классиков, этот субъект размышляет о выходе из платоновой «пещеры». Как всегда проблема «левого» и «правого» никак не решена. Если путник повернет «налево», он, после утомительного блуждания в пепельных полях асфоделей, достигнет зловещего дворца Аида, где будет вечно ждать героя-освободителя. Путь направо поначалу крайне утомителен, словно окрестности сада «спящей красавицы»: живые корни, усеянные шипами вместо листьев, норовят скрутить и растерзать; крапивное пламя оставляет на теле непреходящие ожоги; хищные репейники, злые чертополохи, тернии рвут плоть, покрывая кожу гнойниками и опухолями. И вдруг отрывается багряная ширь макового поля. Ожоги и опухоли исчезают, воздух обретает плавность и густую прозрачность воды, небо меняет окраску: желтеет, голубеет, синеет, доходя до ультрамарина. Начинается головокружение, сонное опьянение, в котором тянет остаться навсегда. Но если удастся преодолеть этот морок и не заснуть в маковом поле, усталые глаза замечают ленту желтофиолевой тропинки, ведущую то ли в жилище Морфея, то ли обратно в платонову «пещеру». Герой Дилана Томаса ничего не понимает и растягивается на кушетке, размышляя о собственной глупости и загадках богов.

Опиумная курильня отвратительна. «Жуткий домишко, наполовину врытый в землю, двери плотно закрыты, в разъедающем дыму едва мерцают свечи. На скамьях валяются истерзанные жертвы опиума. Иногда они вспрыгивают, хватают худыми пальцами пустоту и смотрят белыми в лиловых прожилках глазами в даль обетованную». (Клод Фаррер. Курильщики опиума. 1904). Сейчас, вероятно, всё гораздо комфортней, но вряд ли ситуация изменилась качественно. Стоит ли приносить в жертву тело и душу ради роскошного галлюциноза?

Земная жизнь не вызывает оптимизма и очень неплохо вытащить ноги из её вязкой ежедневности. Надо, прежде всего, сказать вслед за Шекспиром, что «мы сотворены из субстанции снов» («Буря»), а значит наше мельтешение здесь — только скучная, навязчивая чушь. Необходимо, правда, немного терпения, чтобы вырваться из железного закона новой эпохи: сейчас, скорей, любой ценой.

Насилие никогда просто так не проходит. Надрезать цветок мака, сгустить маковое «молоко», подвергать фармацевтическим экзекуциям — ещё одна иллюстрация современной агрессивности. Чем интенсивней желание бегства, тем беспощадней преследование. Ночь никуда не уйдёт и незачем торопиться в сферы её кошмаров. Обращение с этим «багряным обольстителем» требует нежности и внимания, античные писатели — Плиний Младший, Павзаний, Синезий — предложили много вариантов подобного обращения.

Однако не надо забывать: мак — цветок женских любовных околдований и женских таинств, прежде всего. «Положи бутон лунного мака на сердце спящего любовника и он никогда тебя не покинет. Если предварительно ты сбрызнешь этот бутон соком молочая, смешанного с твоими слезами — любовник твой никогда не проснётся» (Апулей. *Метаморфозы*).

Одна из самых загадочных мистерий — «действие женского фаллоса», посвящённое тёмной Артемиде Мелеос — упоминания встречаются у Валерия Флакка и Нонния. «В лесу или пустоши собираются старухи числом двенадцать и поют гимны во славу богини. В случае удачи появляется юная девушка с неправдоподобно большим цветком мака и, ни слова не говоря, садится в центре собрания. Старухи раздеваются и ведут хоровод вокруг неё, потом падают перед ней ниц и кричат: фаллос, восстань! Девушка поднимает мак, старухи бросаются, съедают его и засыпают. Просыпаются они юными и навсегда покидают родные места» (Валерий Флакк. *Гимны Артемиде*).

Многочисленны сказания о маке. Это очень сложный и таинственный цветок, который надлежит изучать людям, одарённым воображением.

Калина: бешенство любви и смерти

«Старик Юстас основательно зажился на свете. Сынок его, седобородый сторож на шлюзе, каждый день орал: когда ты, старый пёс, подохнешь. Старик Юстас изо всех сил старался, то и дело молился смерти-матушке, лиходею-батюшке, да всё без толку. Наконец, добрёл до буерака, срезал калиновый посох и попросил: сведи-ка ты, брат, меня в подземное царство, умоюсь там, приоденусь. Бодро-весело застучал посох по дороге, старик за ним едва поспевал. Три дня спускался в дыру земную, потом наклонился над чёрной рекой, глядь, из воды он сам смотрит, только молодой, приглашает, иди, мол, сюда...» (Литовские народные сказки в обработке Оскара Милоша, Париж, 1936).

В простонародной Европе всегда признавали: калина (*Vilburnum opulus*) великолепно разбирается в проблемах любви и смерти. Сейчас обожатели этих наук платят очень

приличные деньги за старинные манускрипты и гримуары, где содержатся магические рецепты, основанные на действии калиновых ягод и цветов. Данные ингредиенты непременно присутствуют в настоях и отварах, призванных ускорить или отдалить смерть, равно как в большинстве любовных эликсиров и фильтров. Калина особенно серьезно втянута в супружеские отношения, защищая как правило женскую сторону: жестоко мстит за женские обиды, часто исполняет простые прихоти просительницы. «Садик принцессы Филис» (гримуар по чёрной магии XVI века) советует оскорблённой супруге: «Насыпь на глаза спящего мужа немного пепла калинового соцветия, сожжённого в полнолуние на серебряном блюде; проснётся он и уедет на три года в странствие. Если хочешь, чтобы вернулся с деньгами, скажи про себя: „mater Vilburna argenta donata“, если хочешь, чтоб вообще не вернулся, скажи: „mater Vilburna speculum mortis“ и поцелуй отражение луны в своём собственном зеркальце».

Надо кстати заметить, что большинство флоральных рекомендаций очень известных книг по магии: «Большой и Малый Альберт», «Натуральная магия» Делла Порты и т. п. требуют тщательной проверки из-за современной экологической ситуации. Калина, древесная в особенности, принадлежит к немногочисленным совершенно неязвимым вегетативным видам, её магнетическая сила весьма значительна. Калиновый корень, положенный в гроб, под голову покойника, хранит тело от разложения, калиновая веточка под подушкой отгоняет аппариции (злые призраки), умиротворяет любые кошмары, притягивает нежные эротические видения.

Популярность калины в России удивительна. В языческую старину её называли «любодурь», в христианские времена — трава «христоспаса». Бытовала легенда, что калина спасла Христа. «Старичок, подошед ко кресту, облившему кровию Сына Божьего, коснулся веткой калиновой рассечену лба: воротилась кровь обратно из терний, гвоздочки повыпадали, сошёл со креста Спаситель крепче прежняго и восславил Отца Своего.» (Цит. Бегичев Д.Н. Из русской старины, 1828). Легко проследить триумфальный путь калины в русских притчах, плачах, заговорах. В «народных» песнях А. А. Дельвига, и особенно в анонимных «Жалобах молодой жены» читаем:

Плачет лес от причитаний,

Горькая кручина!

От свекровых приставаний

Сохрани, калина!

Русский символист Аполлон Коринфский, известный переложитель былин на современный язык, любитель забавных старославянских имён и выражений, познакомил читателей с такой душещипательной историей: богатырь Чурила Плёнкович женился на старости лет на красавице Рогнеде. Настала брачная ночь:

У красавицы Рогнеды сердце замирает

Как Чурила престарелый её обнимает,

Обнимает, обнимает, старается, милый,

Да видать уж не хватает самонужной силы.

Настроение в семье подавленное, до скандалов недалеко. И тут пришла бабушка советует Рогнеде:

Ты оставь драги одежды, перстеньки и прялку

Там, где черти на болоте хоронят русалку,

Белым цветом обуяна там цветёт калина,

Набери ты бела цвета, белены да глины,

В самую темень сотвори костлявую кручину

И зарой под Иглис-камень далеко от дома.

Иглис-камень требует серьёзного исследования, и мы его касаться не будем. Бабушкин совет, к сожалению, подействовал слишком сильно. Чурила Плёнкович не выдержал внезапного любовного взрыва и скончался, что понятно ни в коей мере не умаляет эффективности калинова цвета, хотя подробности действия выдают не очень-то благие замыслы Рогнеды. Магические операции редко бывают однозначны, к тому же зловещая репутация калины хорошо известна. Это отразилось даже в частушках советского времени, где полное неприличие сплетается с полным гротеском:

Целовал калину парень

Обещал жениться,

А потом перепугался

Побежал в больницу.

Ты сестра, моя сестра,

Сестра милосердия,

Выходи ты за меня

Сразу после сретенья.

Не будем излагать целиком, частушки длинные, плясунья, видимо, порядком утомилась. Парень и «сестра» уехали в другой город и поженились. Ревнивая калина последовала за ними и устроилась официанткой (!) в кафе. Однажды ночью она «заползла в окошечко» к молодым:

Ну целуй, парень, целуй,

Скоро будешь каяться,

Оторвала ему ...

Оторвала ...

На том дело не кончилось. Несчастливая жена вскорости родила уникальное чудо — «жабицу мохнатую» (Гусев И.Т. «Орловские частушки и попевки». Филологический вестник, Москва, 1969).

Диапазон магических действий калины меняется у разных европейских народов от зловещей, мучительной смерти до любовных шалостей и дельных рецептов. Бесспорна, впрочем, женская ориентация этой магии. В забавной немецкой книжице «Beirate Hurenmutterchen der Dirnetochterchen, Hamburg, 1713», что можно приблизительно перевести как «Советы матушки-потаскухи адекватной дочурке», содержится более сотни полезных рекомендаций, связанных с калиной. Например: «Когда пойдёшь на сладкое свиданье, не забудь поместить, сама знаешь куда, калиновую косточку». Дело идёт, видимо, о контрацепции — в данном смысле о калиновых косточках говорят десятки других источников. Далее «матушка» даёт хороший медицинский совет: «При нашей с тобой, милая доченька, беспокойной жизни, часто случаются разные женские недомогания. Регулярно пей трёхдневный настой зрелых калиновых ягод на очищенном миндальном орехе — нет от этих напастей лучшего средства».

Так что уважительно смотреть на калиновый куст следует не только с точки зрения гуманно эстетической. Это растение очень опасное, очень полезное.

В «Поучительных историях» (Москва, 1835) В. Лукина приведен следующий занятный текст: «Ох, злодей, и у кого-то окаянная рука поднялась на калину-матушку!» — причитала бабка Степанида, топая по краю огорода. Поперек валялся вырванный с корнем куст в цвету. «Ты лучше доложи, когда помрешь!» — заорала дочка ее, которую иначе как «сквалыгой» не звали. Пройдет из нищих кто помоложе — она его пожалеет да жука-долгуна за ворот пустит, а коли убогий странник встретится, обязательно подаст гнилой свеклы с молитвой и поклоном. Почитала она прозвище «сквалыга» — кто-то на ухо ей шепнул, шутки ради, это, мол, имя великого святого. Так вот. «Доложи, когда помрешь! Брюхо нажрала, а тут дети воют, кормить нечем! А калина твоя, будь она проклята, только и горазда под ноги соваться! Хорошо напомнила, надо бы еще рябину спилить! А главное заметь, помирать надо, нечего белый свет срамить».

Всю ночь голосила Степанида над вырванным кустом, по заре на тощие плечи взвалила и понесла хоронить. «Погоди, дочка любезная, рассчитаюсь с тобой...» и потащила калину к опушке леса. Шла весь день, добралась до глубокого оврага, на дне которого змеилась голубая речка. Умаялась бабка, оставила калину на берегу, да и сама среди веток прикорнула. Ночь прошла спокойно, только поблизости кто-то рыдмля рыдал да какая-то тварь выла. Проснувшись на рассвете, глянь, калина выросла, корнями укрепились, ягодами покрылась, а рядом шелковое платье лежит и рубиновое ожерелье. «Спасибо тебе, святой Игнатий, худобы моей не забыл.» Завязала старуха узелком платье да ожерелье и побрела домой. Видит, Сквалыга на радостях рябину пилит. Веселая, песню распевает. «Не с погоста ли часом, обжора старая? Ну погоди, угощу тебя!» И на мать родную бадью с помоями вылила. И предстала перед ней красавица в шелковом платье — на шее рубиновое ожерелье блистает. «Ох, прости барыня, а я-то думала это мать моя, утроба ненасытная, нас объедать изволила пожаловать. Вчера только пяток лещей прибрала и заныла: „Еще пяток подготовь! Ужо и дети малые по деревне дразнят...“» «Что мать родную гонишь со двора, — молвила барыня, — это дело богоугодное, вот тебе и гостинец...» — и протянула Сквалыге ожерелье.

Ахнула трудолюбая, пилу отбросила, давай на стол накрывать: «Устала поди с дороги, барыня, прими от нашей худобы.» И мигом накрыла стол селянкой да шаньгами, балыком да гусем жареным. «А вы кышь отсюда, — замахала на ребятишек, — моркови на дворе погрызите.» «А чтой-то у вас, любезная, гусь улетел», — удивилась барыня. Мать честная, за гусем пропали селянка да балык. «Тьма кромешная!» — закричала хозяйка, а тут пила принялась пилить столы да стулья, сундуки да скамейки. Глянула Сквалыга на барыню — вместо нее развалился в кресле мужик бородатый, кривоглазый да пузатый, орешки грызет и усмехается: «Рябину недопилила, двор не разорила, что ж тебе за это рубины дарить! Посмотрела, а по груди кровь стекает...»

Вегетативная магия предназначена для ведьм и вообще для женщин знающих. Особенно на Руси — на западе давно ее позабыли. По ней не существует «квалифицированных» книг — таковые полны несуразиц, нелепиц, в лучшем случае, «полезных советов». Только в сборниках фольклористов попадаются иной раз дельные, отрывочные замечания, но фольклористы менее всего озабочены верностью передачи волшебных заговоров и рецептов. Магические рекомендации с древних времен изложены по принципу «можно» и «нельзя». Они не подвержены вопросам и объяснениям. Лучший способ насторожить ведьму — спросить ее «почему?» Она отмолчится и уж более с вами разговаривать не станет.

Можно убрать могилу ведьмы калиновыми ветками,

можно в ее мертвую руку вложить гроздь калиновых ягод,

можно калиновым цветом украсить колыбель ее ребенка;

нельзя девушке на выданье прихорашиваться ягодами и цветами,

нельзя прибирать избу калиновыми кустами,

нельзя парню играть с калиновой веткой или забавы ради задевать оной проходную девицу. Почему? Объяснения есть, но формальные, легкомысленные или ученые. Надо допытывать калину, почему она влияет так, а не иначе. Кроме знаний и заговоров, которыми ведьма делится только в исключительных случаях, есть еще «калиновое радение» в первую ночь июньского чернолуния. Собираются старухи (редко-редко кто из молодых), пьют калиновую настойку, заводят вокруг калины странные танцы, поют непонятные песни, потом внезапно падают, завывают и бормочут незнакомые слова. Расходятся только на рассвете, молчаливые, угрюмые, за день не реагируют ни на плачущих детей, ни на важные замечания. Если радение удалось, старуха мечется и бредит всю ночь, утром поднимается веселая и спокойная. Натуральная магия не знает

добра или

зла, не беспокоит ведьму или ведьмака удача или неудача действия. Они не признают радикальной человеческой инициативы, а «ждут милостей от природы». Именно от природы, а не от Бога или богов. От Христа, после унижительной его казни, они ожидают только мщения и наказания. От языческих богов, которые тоже немало претерпели от людей, грядет, по их мнению, разрушительный разгул стихий.

Потому «черной» или «белой» магией занимаются эгоисты, сребролюбцы или попросту злыдни да злодеи, словом, блюстители

своих интересов, люди, которые оторвались от матери-природы, ищут ради корысти или честолюбия наставников себе по душе, погубителей человеческих и обладателей зловещих секретов.

Искатели «натуральной магии» озабочены, прежде всего, свойствами и взаимной жизнью растений, что возможно только при разумении вегетативного языка. Растения, как люди, бывают полезные и бесполезные, говорливые и молчаливые, легкомысленные и серьезные. Тайны свои они скрывают от любопытных, давая им часто неправильные сведения или направляя к существам капризным и порочным. Не любят естествоиспытателей — ботаников и врачей, которых предпочитают обманывать и дурачить. Знаменит случай с Карлом Линнеем. Он много лет искал «калинов огонь» — по преданию, тот вылечивал почти все болезни. Покрылся бедный ученый волдырями и бородавками — вот и весь результат. Посоветовали ему завернуть ягоды калины в молодую крапиву — зажигает, мол, она ягоды, как спичка — сухое дерево. Опять никакого толку. Однако не брезговал Карл Линней обращаться к деревенским старухам. Принес он одной свечей и материи на платье, поворчала старая, велела доставить ей серебряную монету и калиновую гроздь. Монету зарыла у себя в тряпье, оттуда же вытащила охапку прошлогодних сухих дубовых листьев, закутала калиновую гроздь и стала убаюкивать как младенца. И забилось из-под листьев нежное голубое сиянье. Завернула старуха сиянье в тряпицу и подала Линнею, а как ученый, уходя, благодарил, швырнула ему вслед серебряную монету. С тех пор Линней стал еще более знаменит, а старухи и след простыл.

Заняты свойства калины, и занятные люди ими интересуются.

Эрос и Хаос

Странные женщины

Если праматерь Ева ассоциируется у нас с женщиной детолюбивой, доброй и заботливой, то Лилит — загадочная, малоизвестная и злая — с некой принципиально дурной и преступной дамой. Если Ева — «ты», она всегда «она». И то и другое весьма далеко от каббалистического контекста, который следует в данном случае учитывать. Но увы.

Двадцатый век обрушил массу книг по Традиции вообще, по традициям в частности на головы любопытных. Однако при обилии «информации» довольно трудно

конструктивно размышлять на подобные темы.

Почитаем новых каббалистов — Вьюю, Серойя, Шолема; почитаем иудейских каббалистов шестнадцатого века — Исаака Луриа и Хаима Витала; почитаем христианских каббалистов — Рейхлина и Розенрота; почитаем сомнительной подлинности страницы великих мистагогов — рабби Акибы и рабби Симеона бен Йохая — в результате выжмем нечто мутно-многоцветное и невразумительное.

Любовь к традиции часто рождается из ненависти к современному позитивизму, а этого мало. Для изучения мудрых каббалистов необходим еврейский язык, но этого тоже мало. Каббала — устная традиция. При всем прочем это значит: учитель сообщает ученику тайну гласных букв, без которых начертанные на пергаменте

глифы бесполезны. Но и это далеко не всё. Рабби Лев и рабби Луриа оставили несколько крайне темных книг, правда, неоднократно прокомментированных, откуда следует заключить о сходстве методов оперативной каббалы и теургии неоплатоников. Нить хоть и тонкая, но

путеводная. Ученики Ямвлиха, затем Сириан и Плутарх Афинский оставили важные сведения по магической анатомии. (Как всегда в таких случаях сомнительность подлинников не вызывает сомнений). Эти философы и мастера теургии трактовали «фантазию» (фанетию, гиле) как срединную субстанцию меж физической плотью и «охемой» — субтильным телом души. В каббале срединная субстанция называется *ibbur*. Это место встречи десяти органов чувств меж стихией воды и стихией земли. Пассивное физическое восприятие встречается здесь с психическим и активным. У людей сугубо земной ориентации подобные встречи не вызывают особого потрясения — чуть чуть обостряется воображение и несколько мрачноватые случаются сновидения. (Оставим открытым вопрос о наличии у всех и каждого субтильного тела души). Пассивные органы чувств принимают данности внешнего мира за бесспорную реальность. Для мистиков, магов, пневматиков вообще эти данности имеют ценность символов, не более. Субтильное тело души (охема) тройственно связано с физическим: одно приковано к другому — обычный вариант; одно временами не связано с другим — ситуация опытных сновидцев, нарколептиков, людей интенсивно мечтательных; одно сознательно живет независимо от другого — результат первичного посвящения. Последнее в каббале именуется «шемайам карим», что можно передать как «посвящение в жизнь». Акцентированные контакты «охемы» с телом физическим чрезвычайно опасны для благополучия человеческой композиции. Когда рациональная душа (лубар шеддим) попадает в срединную субстанцию (*ibbur*), границы логики и абсурда, жизни и смерти, яви и сна исчезают, детерминация распадается — таково действие стихии воды.

Новое время рассекло барьером социального рацио психические и физические органы чувств. По суждению рациональному, психических просто не существует, а физические в силу крайнего своего несовершенства нуждаются в постоянной проверке и уточнении. Фантазия — фанетия, гиле, пневма, ирреальные туманы... Диктатура теорий и моделей рацио уничтожает магическое миропонимание и доступ к любой традиции. Уильям Блэйк сказал в поэме «Мильтон»:

Ни микроскоп, ни телескоп ничего о мире не знают,

Они только меняют рацио восприятия.

Необходимо избавиться от теоретического морока или, по словам Уильяма Блэйка, «очистить двери перцепции». Но легче наметить, нежели свершить эту тяжелую предварительную работу. Наша кровь отравлена временем часов, нашему пульсу, пригнанному к «норме», трудно обрести индивидуальный ритм. К тому же страх прослыть сумасшедшим равно не ласкает наши размышления. К тому же большинство книг о традиционной мудрости написано в научно-диалектической манере, что противоречит устной либо знаковой акроаматике учений. Каббала — не теоретическая физика, там нет необходимости «решать трудные проблемы», отвечать на вопросы, порицать или хвалить. Хороший пример акроаматики — немой «диспут» Панурга и Таумаста в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Франсуа Рабле. Таумаст задал один единственный вопрос: «Но Меркурий?», тут же последовала реплика Панурга: «Вы заговорили.» Акроаматика — способ обсуждения или обучения традиционным знаниям — в отличие от диалектики не пользуется вопросами, письменной фиксацией, но предпочитает устную речь и язык жестов; лишь в крайних случаях каббалист может начертить букву или цифру. Вне данного способа научиться каббале нельзя. Можно лишь

ознакомиться по книгам и манускриптам. В группе каббалистов ученик ничем не отличается от учителя — каждый

в молчании знает свое место в иерархии.

Существует, разумеется, спекулятивная каббала, напоминающая *Arg magna* Раймонда Луллия, где с помощью правил комбинаторики и соответствий букв и цифр знатоки разгадывают имена Божьи и ангелические, равно как те или иные термины. Но все эти сравнительно простые математические операции несколько не отвечают учению, ибо всякая часть, отвлеченная от целого, более ничего с этим целым не имеет.

Поскольку Лилит — важная персона в драме Творения, её имя, её тайна, её влияние совершенно недоступны лаическому знанию. Но зловещая фасцинация «первой жены Адама», затем «жены сатаны» пронизает века и не перестает будировать интерес. Сведения письменных источников разрозненны и запутанны. Разберем несколько

типов женщин и поищем среди них Лилит.

Чары красивой женщины туманят путь в царствие небесное, семейные заботы отрывают от благочестивых мыслей, что и говорить. Женщина в силу понятных причин куда ближе к природе, нежели мужчина, инвективы демонологов обусловлены агрессией абстрактных идей. Нельзя к тому же забывать следующее: в конце средних веков и даже в эпоху барокко женщины еще не утратили своей натуральной магии, которая давала им полную власть над мужчинами.

Не представляется возможным разграничить натуральную женскую фасцинацию и ведьмовство. Легкое околдование мужчин элементарно и не требует специальных знаний. Рекомендаций здесь сколько угодно: слегка протереть ватой, смоченной в слабом растворе менструальной крови,

его туалетное зеркало; вплести в косу клочок, прядь

его волос; чуть чуть смочить

его носовой платок слюной или... Это простейшие средства притяжения, говоря точнее, примитивные катализаторы черной магии.

В старину злющие бабы, желая вызвать у недругов своих мучительную, постоянную эрекцию, намешивали им в еду или в питье настой чеснока на бычьей крови. Само собой понятно, если чеснок вызывает турбуленции в сфере эротики, отсюда недалеко до потусторонних пространств. Здесь он необходимый защитник и доблестный воитель. Даже культурный чеснок, разбросанный на полу за мебелью, отпугивает настойчивых домовых. Дикий чеснок на многое способен. Суть его действия — «в нейтрализации притяжения беспокойной крови» (Элифас Леви). Примечание: кровь — не только содержимое наших сосудов, кровь — «душа мира», оживляющая вселенную. Любой страх, любое желание, любое околдование основано на притяжении крови. Наши сны, образы нашей фантазии, наши неотвязчивые предположения суть эманации взволнованной крови. И вот беда: пока в сердце не взойдет потаенное внутреннее солнце, мы обречены барахтаться на этих волнах, измотанные непрерывными прельщениями и отвращениями.

Пока подобное солнце не взойдет, мы бессильны перед беспощадной женской магией, хотя любая монотеистическая религия основана в безусловном приоритете мужского творческого начала. Женщина суть земля и память, восприимница, отражение, эхо, резонанс. Женская структура мозга. Пустыня или плодородная земля сперматического логоса. Концепция, рождение мыслей, теорий, планов, изобретений. Рабби Акибе приписывают два высказывания о Лилит: «Секс открылся у ней в голове» и «Когда Господь создавал Лилит, вынул немного глины меж ногами и заполнил теменную выемку.» Возможны ли светлые заключения из этих темных фраз? На наш взгляд, в творении Лилит акцентирована несводимая к единству диада женского бытия. Далее только предположения: если Ева зависит от мужского единства (по крайней мере, по мысли патриархата), то Лилит являет автономную диаду. Подобная трактовка исключает нередкое у религиозных философов

мнение: Лилит, мол, чувствует жестокую несправедливость, а потому, ревнивая, мстит Еве и ее потомству.

Еврейское гетто в немецком городе. На тесной жуткой улочке, напротив деревянного двухэтажника «владельца майората» — халупа двух евреек. Живут в ней удивительно красивая Эстер с бабкой — страшной старухой, которая ходит принимать роды и обмывать покойников.

Одинокая и восторженная Эстер умеет видеть сны наяву, а тайно влюбленный владелец майората ревниво наблюдает эти сны. В нищенской комнатенке Эстер часто бывают блестящие, важные господа. Но вот девушка тяжело заболевает, в ее изголовье встает ангел смерти. Изумленный, перепуганный владелец майората видит следующее: страшная бабка срывает с нее одежду, прыгает на роскошное тело, острыми зубьями рвет горло, пьет кровь, потом с причитаниями да оханьями обмывает покойницу.

Такой вот эпизод из рассказа Ахима фон Арнима «Владельцы майората». Бесспорно воплощение Лилит в старухе, ибо Лилит беспощадна к женщинам, влюбленным в мужчин реальных или сомнамбулических.

Страстная история, напряженный разговор Ипполиты и Дельфины вспыхивают в бледном сиянии смутных, томительных ламп:

A la pale clarte des lampes languissantes

Sur de profonds coussins tout impregnes d'odeur...

...на мягких, пышных, глубоких подушках, пропитанных запахом, источающих запахи, ароматы. Энергия александрийского стиха противоречит медлительно-сибаритной атмосфере, но вполне соответствует экстатическому дикту Дельфины.

Перевод поэзии дело безнадежное, здесь легитимны сравнения типа: медуза, выброшенная на берег, или, дабы не покидать пространства Бодлера, это напоминает пойманного альбатроса, который калечит о палубу свои огромные крылья. Пафос пропадает, интонация пропадает, более того: словарные значения плохо соотносятся с поэтической коннотацией. Как перевести *lampe languissante* или *profonde coussin*? Даже общепринятые *fatal, despotique*, покидая французское стихотворение, меняют свой ассоциатив.

Но в данном случае нас интересует сюжетная линия в метафорическом колорите — метафору, образ можно так или иначе передать. Попытаемся пересказать стихотворение. Название, прежде всего: *Femmes damnees*, «Женщины, достойные порицания, осуждения». Надо полагать, не в глазах поэта, но с точки зрения социальной морали.

Итак, на мягких, пышных, глубоких подушках нежная, застенчивая Ипполита раскаивается в греховных ласках: «Она ищет тревожным взглядом уже далекое небо своей наивности...бессильные, побежденные руки разбросаны, словно оружие отныне бесполезное.» Ипполита — жертва страстей своей подруги. «У ее ног, спокойная и радостная, свернулась Дельфина...словно хищник, который созерцает добычу, предварительно отметив ее зубами.» Однако желания Дельфины неоднозначны. Да, она «сладострастно вдыхает вино своего триумфа», но при этом «ищет в глазах Ипполиты сияющий гимн наслаждению.» Она

обращается к подруге чрезвычайно нежно и, тем не менее, в интонациях вердикта: «Ипполита, милая сестра, что ты скажешь об этих вещах?» Здесь любопытен переход от намеренной небрежности (*que dis-tu de ces choses*) через надежду на взаимопонимание к утверждению весьма категорическому: «Чувствуешь ли теперь, что нельзя предлагать первинки твоих роз раскаленному ветру?» Сказано даже сильнее: «*L'holocauste sacré de tes premières roses*», «сакральную жертву твоих первых роз.» Затем Дельфина занимается четкой саморекламой, противопоставляя свою изысканную деликатность звериному насилию гипотетического любовника: «Мои поцелуи легки, словно бабочки-эфемеры, что ласкают тени призрачной озерной волны.» И далее, очень презрительно, о «тех» (то есть мужских): «А те пробороздят твоё тело, как беспощадный лемех... Они пройдут по тебе копытами лошадей и быков, запряженных в тяжелую повозку.» Язвительное, несколько брезгливое пренебрежение исчезает в нежной мольбе: «Ипполита, сестра, мое сердце и моя душа, моя половина и мое всё, обрати ко мне лазурные, звездные глаза и дай дивный бальзам взгляда.»

Des plaisirs plus obscurs je leverais les voiles,

Et je t'endormirai dans un rêve sans fin!

«Я раскрою секреты самых темных наслаждений и зачарую тебя в неведомом и бесконечном сне.» Можно также перевести: «Я подниму паруса наслаждений самых темных...»

Ипполиту весьма смущает отвага Дельфины, Ипполита застенчива, беспокойна в климате подползающего страха: «О Дельфина, я не раскаиваюсь, но чувствую неодолимую тяжесть, словно после ночной, ужасной трапезы. Меня обступают сонмы черных фантомов, они заманивают на изменчивые дороги, сдавленные со всех сторон кровавым горизонтом.»

Набросав эскиз столь эффектный, Ипполита умоляет подругу разъяснить моральный аспект ситуации: «Я дрожу от зловещих предчувствий, когда ты говоришь „мой ангел“, и при этом губы жаждут тебя.» Встревоженная, еще стыдливая, уже влюбленная, Ипполита чувствует неизбежность решения и, покорная Дельфине, называет ее: «моя мысль»: «О не смотри на меня так, моя мысль, моя избранная сестра, я полюбила тебя навсегда, будь ты даже западня и начало моего падения.»

И здесь, в гибкой напряженности, вздымается хищная волна Дельфины: фиксируя «фатальным взглядом» жертву, она вскидывает «трагическую гриву» и, словно пифия перед железным треножником, начинает деспотическую инкантиацию: «Кто, опаленный любовью, смеет говорить об inferно?» Дельфина одержима пафосом автора «Цветов Зла»: «Будь проклят холодный мечтатель, который в блаженной глупости задумал повенчать любовь с добродетелью!» Возможен ли мистический аккорд тени и плоти, ночи и дня? Никогда этот паралитик не согреется под багровым солнцем, что именуется любовью! Ее пафос обретает гневный, презрительный тон: «Ступай, если хочешь, ищи похотливого жениха; беги, предлагай девственную нежность сердца его жадным поцелуям; и потом, мертвенно бледная от ежедневных пыток, ты мне обнажишь истерзанные груди в стигматах.»

Диатриба Дельфины прорвала четверостишие и закончилась на излете первой строкой следующего катрена, закончилась неожиданно спокойно и рассудительно:

On ne peut ici-bas contenter qu'un seul maître!

Приблизительно так: «Нельзя здесь внизу, под луной, иметь только одного любовника.»
Возможны коннотации: иметь одного повелителя, бога...

И здесь вступает Ипполита, названная l'enfant (ребенок, дитя). Но ее слова дрожат напряженной эмоциональностью: «Я чувствую бездну, и эта бездна — моё сердце.» Лексика, тон, обращение Ипполиты меняются — это уже не испуганное странной агрессией «дитя», это женщина, что на пороге неведомого храма спокойно смотрит в сторону темного алтаря на свое сердце: «Раскаленное как вулкан, глубокое как беспредельность. Ничто не утешит стон этого монстра и не утолит жажду эвмениды, которая с факелом в руке сжигает его до крови.»

Внезапное пламя сакрального экстаза уничтожает обратную дорогу. Ипполита не знает более ни сомнений, ни робости: «Пусть наши занавеси скроют нас от мира. И пусть любовная усталость растворится в медлительном успокоении. Я хочу быть с тобой и в тебе, хочу вдохнуть на твоей груди свежесть могилы».

Автор «Дон Жуана в аду», понятно, не может осудить этих женщин: «Спускайтесь, спускайтесь, несчастные жертвы, кругами вечного ада, погружайтесь в бездонную мглу, где преступления исхлестаны ураганом, который не приходит с неба.»

Ни малейшей однозначности в этих словах, трудно распознать эмоциональную доминанту в сложности поэтического пафоса: «Сумасшедшие призраки, смешивайтесь с грозой, пейте вашу судьбу: никогда не погаснут неистовые пламена, ибо ваши наслаждения рождают ваше проклятье.»

Слышна ли здесь осудительная интонация, слышен ли здесь вердикт? «Никогда солнечный блик не заглянет в ваши пещеры. В стены просочатся лихорадочные миазмы и вспыхнут словно тусклые фонари, и разорвут ужасным зловонием поры вашей кожи.»

Искусственный пафос, прециозное предсказание. Что «поэзия делается из слов, а не из мыслей и эмоций», позднее скажет Малларме, но этот основной постулат ввели Эдгар По и Бодлер. Образно-ассоциативное пространство совершенно устраняет прямую этическую атаку: «Едкая стерильность ваших радостей удвоит вашу жажду, иссушит вашу кожу; под беспощадным ветром сладострастия ваша плоть заскрипит и застучит как старый лохматый флаг на флагштоке.»

Последняя строфа обнажает безусловные симпатии поэта. Ипполита и Дельфина — его создания, более того, экзистенциальные сестры: «Осужденные ненавистью, бегите, как волки, в недостижимые безлюдья. Делайте вашу судьбу, не сопротивляйтесь бесконечности, сокрытой в вашей душе.»

Ненависть Лилит простирается и на живых и на мертвых мужчин. Рабби Моисей Кордоверо(16 век) в книге «Pardes Rimanim»(Гранатовый сад) дает ряд весьма устрашающих примеров. По его словам, Лилит любит совокупляться с повешенными и мертвецами в могилах, но при этом не растит эмбриона во чреве своем. В первом случае, эмбрион зреет под виселицей и рождается женщиной, поросшей колючками наподобие апунии или ежа, или зубьями пилы. У мертвеца в могиле после подобного соития пенис разрастается женского силуэта ядовитым деревом, похожим на манценил или анчар. Такого рода флоральные «гиноиды», дети Лилит, называются в каббале «маццикинами». Польский поэт двадцатого века Болеслав Лесьмян в балладе «Пила» рассказал о забавах маццикина.

Лесом идет этот кошмар: фигура пилы дышит могильной свежестью, зубами парней манит.

Приглядела себе парня на краю леса и долины: «Хочу тебя, сон мой единственный, ой люли.

Поцелуй меня, парень, отведай острой стали, прижмись к выблескам да проблескам зубов моих.

Очаруйся невиданностью, оснись чужими снами.

Положи голову на васильки да колокольчики, полюби меня

в полевом зное и в лесной тьме.»

«Буду любить тебя силой чудной, целовать как никто. Плевать мне на деревенских девок, каждая из них рыдает от любви горькой доли.

Я хочу примериться телом к новой ласке. Хочу

окровавить губы сумасшедшим желанием, хочу

для твоей потехи так разыграться, чтобы

страстные губы врезались в зубы твои.»

Заскрежетала она от восторга, наточила зубы:

«Иду в любовь, как хаживала на лесные вырубки!»

Зашумела над ними ива зловещим золотом,

И познал парень какова сталь, когда полюбит!

«Ой люли, не одну душеньку из тебя зубами вырву, в тот мир отправлю, полетят они роем разодранных пчёл!»

И распилила его в сумятицу частей:

«Ох вы, забавы мои, пусть вам в смерти посчастливится!»

Распилила тело, разбросала на разные стороны:

«Пусть вас бог пособирает, лохмотья человеческие!»

Но лохмотья хотели сшиться прежней формой, да разыскать друг друга не могли.

Замигали веки в пыльном облаке, неизвестно

кто и мигал, только не человек.

Голова покатила по лугу в поисках шеи, ну прямо как дыня из ладони на ярмарке.

Яр, грабитель, задышал украденной грудью.

Ива зацепила ухо, человеческим ухом заслушала.

Глаза, раскиданные, тлеют кто где:

один жужжит в паутине, второй заснул в муравейнике.

Одна нога пляшет на опушке леса, вторая

волочится коленом по хлебному полю.

А та рука, что взнеслась в пустоту над дорогой,

перекрестила неизвестно кого.

Совершенно однозначный «комплекс зубастой вагины», скажет психоаналитик. Болеслав Лесьмян с обычным своим бесстрашием врезался в центр проблемы.

Сказано в Экклезиасте: «Я смотрю на мир глазами свой души и нахожу женщину горше смерти.» Библиисты полагают; во-первых, здесь неопитов предостерегают от пагубной для мистического развития потери девства, во-вторых, речь идет о бесконечных хлопотах и треволнениях, доставляемых женщиной. Но каббалисты думают иначе: для них Лилит и Ева — две ипостаси единой женской сущности, разница лишь в степени: если Ева убивает мужское тело (коитус как малая смерть), то Лилит убивает и тело и душу («горше смерти»). * *

Проблема инициации сложна и остается таковой несмотря на множество комментариев. Дабы сообразить сущность инициации, поглядим еще раз на четырехчастную композицию души, принятую у неоплатоников и схолиастов. Anima: vegetabilis, animalis, rationalis, celestis. Телесное в данном случае минерал, покинутый душой residius. Для жизни растительной и животной необходимы вода, воздух, огонь, а также ориентация в пространстве. В этом смысле люди отличаются от растений и зверей только многосторонней и широкомасштабной активностью. Они коллективны, как правило воспитаны в социуме и получают «специальность» по воле родителей или согласно собственной предрасположенности. Это обычное или «информативное» обучение (forma informantia, по Николаю Кузанскому) лишь слегка меняет тело и мозг, оставляя в покое структуру психо-соматической композиции.

Реляция архивариуса Линдгорста о своем происхождении загадочна и напоминает фрагмент алхимического трактата: «Дух взирал на воды, и вот они заколыхались...и ринулись в бездну.» Далее о долине в гранитных скалах, посреди которой вырвался пламенно-страстный черный холм. От прикосновения солнечного луча «он выпустил из себя в избытке восторга великолепную огненную лилию» — праматерь рода Саламандра, то есть архивариуса Линдхорста.

Далее о страстной любви огненной лилии и юноши Фосфора.

Фаллически возбужденная мать земля (черный холм) проявляет пленительную саламандру (огненная лилия). В страхе угасания жаждет она любви Фосфора — небесного огня. Фосфор предупреждает: «Брошенная мною искра погубит тебя, ибо эта искра — мысль.» Для Гофмана, равно как и для стоиков, небесная любовь и есть небесный интеллект.

Огненную лилию схватывает вульгарный меркурий (черный дракон), дабы с ее помощью обратиться в земное золото. Фосфор побеждает дракона, освобождает пленницу от рабства земного.

Его потомок, Саламандр, менее удачлив. Влюбленный в дочь огненной лилии, золотисто изумрудную змею, он в безумии страсти опустошает, сжигает дивный сад субтильной страны. Таково «грехопадение» Саламандра. Согласно наказанию, наложенному Фосфором,

Саламандру надобно пребывать в земных глубинах, пока он не воплотится в человека — медиатора меж землей и небом — и не получит определенные шансы на революцию.

Рассказ Гофмана отличается странностью и сложностью. Прежде всего, о каком Фосфоре идет речь? Для мартинистов и масонов второй половины восемнадцатого века, для Луи Клода де Сен-Мартена, Франца фон Баадера, Захариаса Вернера, это светоносный Люцифер, утренняя звезда, мужская ипостась Венеры. У Гофмана это царь огненной стихии.

Надо иметь в виду: элементы-стихии двуполы, мужское и женское пребывает там в разной степени доминации. В сфере земли преобладает женское, в сфере огня — мужское, в сферах воды и воздуха ситуация изменчивая.

Путь архивариуса Линдгорста к родной стихии весьма затруднителен. От его брака с «вечной женственностью» золотисто- изумрудной змеи родились три дочери — создания срединные. Необходимо их выдать замуж за юношей, в темпераменте которых блистал бы чистый мужской огонь или внутреннее солнце, или, в лексике Гофмана, «наивная поэтическая душа» — парабола «белого сульфура» герметики — без него трансформация человеческой композиции невозможна.

В борьбе с Фосфором черный дракон весьма серьезно пострадал. От контакта одного из его перьев «с какой-то свекловицей» появилась фрау Рауэрин, она же торговка яблоками, она же «старая Лиза» — могущественная ведьма, ненавистница Саламандра.

В «Золотом горшке» представлена беспощадная борьба неба и земли, *abundatio* и *privatio* (изобилия и лишения), высокого огня и низкой земли. В эту борьбу невольно втянут студент Ансельм со своей «наивной поэтической душой», рассеянностью, неловкостью, неточностью.

Прозерпина

Аид древних греков крайне сложная живая композиция и тем отличается от любого вида христианской преисподней. В Аиде нет категории времени, но с пространством дела обстоят крайне сложно: оно способно сжиматься, расширяться, непомерно увеличиваться и уменьшаться до самых скудных размеров. Все это зависит от десятков причин: от воли богов и титанов; от настроений Океаноса; от взаимоотношений богов и титанов; от капризов Аида — повелителя царства мертвых и т. д. Если у мертвеца нет денег, чтобы заплатить Харону и благополучно пересечь Стикс, он должен выбирать другие пути, которых довольно много со всех сторон света. Но, во-первых, большинство не знает карты ада, во-вторых, масса путей, дорог и тропинок крайне опасны. Поэтому будущим призракам приходится днями и месяцами (образно говоря) блуждать по чащобам, равнинам и оврагам, поросшими чахлой, белесой травой, чтобы найти дворец Аида. Слева от дворца растет белый кипарис, который отбрасывает свою тень в Лету, реку забвения, справа — белый тополь, отражающийся в Мнемозине — реке памяти.

Мертвые еще не призраки и отчаянно пытаются избежать этой судьбы. Если им удастся напиться живой крови — имитация жизни на некоторое время возвращается к ним. Так охотник Орион до сих пор гонится за мертвым оленем, но безуспешно, потому что олень превратился в призрак. Кстати.

Мертвые называются таковыми, пока блуждают по безрадостным равнинам и перелескам. Здесь еще остается мнимая надежда, мнимая, поскольку ток живой крови оживляет их

ненадолго. Стоит приблизиться к полям асфodelей в окрестностях дворца Аида и судьба их решается. Асфodelи — почти прозрачные цветы разных оттенков, почти прозрачные, но постепенно теряющие и это качество — такова специфика пространства Аида. Мертвые равным образом теряют плотность, видимость, обретая полупрозрачность, прозрачность, призрачность. Часть из них попадает в Лету, где они, теряя память, уходят в подлинное небытие. Другие, посвященные в мистерии, погружаются в Мнемозину, где память постепенно возвращается и появляется чувство ориентации. Река Мнемозина граничит с Элизиумом, страной блаженных, куда они, счастливы, стремятся. Однако ж большинство предстает перед тремя судьями — они решают их судьбу, как правило, незавидную, направляя грешников и вообще людей неправедной жизни в поля страданий. Но этим не ограничивается «трибунал» близ дворца Аида.

Прозерпина, его жена, зачастую отличается добротой и милосердием. Она более или менее верна Аиду, но совместных детей у них нет. По этой или по какой-нибудь другой причине она дружит с Гекатой, которую почитает сам Зевс. Геката ужасна. У нее три головы — львиная, лошадиная и собачья. (Правда, нельзя доверять мифографам в подробностях. Во-первых, Геката, как богиня колдовства, вообще крайне легко меняет обличье, во-вторых, каждый мифограф изображает такого рода персонаж в меру своей фантазии, особенно при описании «составных» чудовищ.) Вот, к примеру, описание эриний, ее неизменных спутниц: это старухи с извивающимися змеями вместо волос, у них собачьи головы, угольно черные тела, крылья летучих мышей и кровавые глаза. Вооружены они плетями, усеянными острыми бронзовыми гвоздями — каждый удар доставляет неслыханную боль. Подобные креатуры загоняют призраков снова в тела мертвецов и те снова обречены вернуться под их плети, ибо поля страданий еще кошмарней. Впрочем, они часто выносят справедливые приговоры, потому-то в аиде столь распространена лесть: этих жутких старух называют «несравненными красавицами» или «эвменидами» — «добрейшими из добрых».

Каждый зверь, часть тела которого входит в состав этих «исчадий ада», имеет для того свои основания. Собака, к примеру, с присущей ей неутомимостью преследования, превосходным нюхом и отличной памятью, незаменима для хорошего судьи. Недаром пес Цербер — страж всего inferнального пространства — настоящее чудо тератологии. У Цербера три головы и змеиный хвост. Это еще куда ни шло. Но туловище данного порождения Эхидны и Тифона усеяно змеями, что придает ему, надо полагать, совсем гротескный вид. Страж он образцовый. Аналогичное можно сказать о лошади, льве, тигре, любом звере, служащем справедливости, так как зло в аиде не цель, а необходимость.

Вообще отношение призрака с его мертвым телом весьма запутаны. Хотя призрак, по понятной причине, не испытывает физических страданий, его судьба печальна: вечно блуждать на границе полного небытия ужасно; не менее ужасно частично или полностью быть загнанным в собственное мертвое тело, испытывая все напасти, выпавшие на его долю. Выдающихся грешников или героев ждет иной жребий. Они особо отмечены богами. Их удел — постоянная и нудная занятость чем-либо. Достаточно вспомнить Данаид или Сизифа. Окнос, к примеру, постоянно блуждает по берегу Стикса и старательно плетет канат из грубого прибрежного тростника: за ним следует ослица и расплетает канат. Вечная бессмысленная работа, которую так ненавидели греки.

Герои подвержены иной участи. Призрак Ахилла пребывает в аиде, но сам Ахилл живет с Еленой Прекрасной на островах Блаженных, что расположены сразу после Элизиума. Призрак Геракла — в аиде, хотя сам Геракл — в сонме олимпийских богов.

Некоторые удачливые праведники, погруженные в реку Мнемозину, выплывают в мир живых, обретая таким образом второе рождение. Павзаний, Валерий Флакк и некоторые другие авторы утверждают, что в аиде находится призрак каждого злого человека, но необходимо пройти посвящение Гекате, чтобы получить с ним контакт. Но сие относится к сфере черной магии, а не к нашему короткому обзору.

Повелитель Аид, несмотря на свое прозвище (Плутос — богатый) не блистает ни роскошью дворца, ни великолепием личного убранства. Его владения в глубину достигают Тартара и он знает местонахождение драгоценных металлов и минералов, хотя подобное знание не доставляет ему особого удовольствия. Он скромнен или лучше сказать молчалив, не вмешивается в дела своих судей, не дружен ни с Гекатой, ни с эриниями, ни с богинями судьбы (мойрами), ибо не зависит от судьбы. В его царство часто вторгается Хаос, принося плесень, затхлость и крики летучих мышей. Вообще говоря, в мифах существует два аида — гомеровский и гесиодовский, область полной стагнации и область довольно интенсивной жизни и движения. О второй Гомер не упоминает, так как игнорирует Прозерпину — богиню подземной весны. Аид похитил ее, когда на своей золотой колеснице появился на лугу, усеянном дивными цветами. Несмотря на стенания ее матери Деметры, Зевс оставил Прозерпину у Аида, разумеется, как принято у богов, не без тайной мысли: на праздничном пиру Прозерпина съела треть граната. Это означало, что она должна была проводить треть года (зиму) в аиде, а весну и лето — на земле. Подобное преобразило аид: в начале весны стали пробиваться ростки трав и цветов и к лету мрачная протяженность аида расцветала сочной зеленой травой, корнями цветов и плодовых деревьев. Плоды этих деревьев созревали на земле, ибо Деметра — мать Прозерпины — богиня плодов и созревших злаков. Аид изменился: мрачные голые прогалины, затянутые плесенью и белесой, чахлой пародией на траву, зловещие буераки, где медленно продвигались зловонные протоки, болотистые овраги, бездонные пропасти и уходящие неведомо куда извилистые тропы, поросшие чертополохом, сочащимся черным соком кустарником и уродливо растопыренными деревьями... вся эта гниль вечно умирающей осени сменилась буйной растительностью и огромными корнями, вершины которых расцветали на поверхности земли и уходили в небо. Таково было превращение, свершенное Прозерпиной. В аид начали проникать путники, в том числе знаменитые герои, особенно после того, как Геракл победил и связал Цербера, которого однако волей богов пришлось водворить на прежнее место. Из ядовитой пены едва не задушенного Цербера вырос цветок аконит — он пользовался заслуженной популярностью у Медеи и прочих знаменитых колдуний при изготовлении ядовитых настоев.

Рассказывают, что Дионис обязан одним из своих рождений Прозерпине, когда Зевс явился к ней в виде змея. Христиане, по слухам, изуродовали изумительную мозаику одной из древнеримских терм, посвященную этому событию.

Царь лапифов Пирифой и герой Тезей пытались похитить Прозерпину. По свойственному ей загадочному капризу, Прозерпина повелела Гераклу освободить Тезея, но велела приковать к скале злобного царя лапифов. Зачарованная лирой Орфея она разрешила отпустить Эвридику и лишь по невольной оплошности великого музыканта Эвридика осталась в аиде. И все же обвинений в ее адрес достаточно. По просьбе Афродиты она укрыла ее маленького сына Адониса и отказалась вернуть матери. С тех пор Адонис вынужден проводить треть года в аиде. Однажды разъяренная от ревности Прозерпина уничтожила, буквально растоптав, нимф Кокидиду и Менту — возлюбленных Аида.

С древности осталось только несколько скульптур и мозаик, посвященных Прозерпине. Она, правда, довольно часто встречается в групповых сценах на амфорах и барельефах. В новое время внимание притягивает полотно кисти прерафаэлиты Д. Г. Росетти «Прозерпина». «Богиня подземной весны» написана с присущей этому художнику роскошной изысканностью: трудно представить, чтобы она, дивной красоты женщина, могла кого-то «уничтожить и растоптать». Вполборота обращенная к зрителю, слегка склонив голову, она светится нездешней грустью, оттененной глубокой скорбью. Эта скорбь понятна: она только что вкусила треть граната и, думая о перемене судьбы, сдерживает пальцами правой руки запястье левой, в которой еще остался роковой плод. Темно-каштановые, густые, длинные

волосы в пышности своей оставляют открытыми шею и совершенно спокойное лицо. Но совершенно ли спокойно это лицо? В левом уголке губ цвета граната угадывается легкий излом. Он словно повторяется, непостижимо струится, переходит в гамму серого цвета покрывала. Сверху, около плеча, в складках покрывала еще просвечивает левая рука, потом покрывало темнеет, перетекает в нижний, почти черный фон картины, огибая изящный медный светильник — он либо погас, либо горит черным огоньком.

Прозерпина — дочь Деметры, богиня аида, потаенной грусти и глубокой скорби.

Ее голова в кипе темно-каштановых волос на фоне белого квадрата света и листьев виноградной лозы, ее покрывало ниспадает, струится, перетекает, уходит во тьму...

Вряд ли бы древние греки признали

такую Прозерпину. Но люди нового времени тоже не могут угадать,

что такое «богиня подземной весны». Она отличается многоликостью, и ее нельзя трактовать однозначно. Прозерпина, супруга Аида — это одно; Прозерпина — дочь Деметры — другое; Прозерпина — богиня подземной весны — третье и т. д. Формально ипостаси одной богини, но функционально — три разные богини. Как писал Эндрю Мэрвелл, английский поэт барокко:

Для нищих, несчастных и слабых недоступен чертог Прозерпины,

Лишь могучий и гордый достигает анти-земли.

Надо преодолеть коварство супруги Аида,

Чтобы сквозь чахлую осень блеснули белые розы весны.

Здесь другая картина аида в частности, и другая ситуация мироздания вообще. Аиду соответствует вечная осень, чахлая и гнилая в своем вечном распаде. Весна Прозерпины открывает путь к анти-земле, начертанной на картах древнеримского географа Помпония Мелы и впоследствии, в семнадцатом веке, описанной Афанасием Кирхером в книге «*Iter extaticum*». «Весна» Ботичелли несомненно касается той же тематики. Все это относится к тайному культу Прозерпины, о котором упоминается в нескольких отрывистых и темных сообщениях. Кое-что было, вероятно, известно Росетти, поскольку он изобразил не супругу Аида, не дочь Деметры, а именно богиню подземной весны.

«Об этом не знают ни микроскоп, ни телескоп», — по словам Уильяма Блейка. Иначе говоря, при данном, контрмифическом развитии цивилизации всякого рода «Мифологии древней Греции» гораздо больше поведают о характерах и методах исследования, о личностях и вкусах авторов, нежели о самом предмете исследования. Сложность, увлекательность и загадочность мифов всегда будут возбуждать любопытство и привлекать интерес. Но их

девственность всегда останется недоступной, несмотря на дерзания истории, психоаналитики, глубинной психологии. Ничего кроме поверхностных аналогий отыскать в них нельзя. И если «прошлое для нас — книга за семью печатями» (Новалис), мифы — квинтэссенция неизвестного.

Хаос и Афродита

Когда читаешь любую сакральную или мифическую книгу, невольно возникает вопрос: а где начало, как обосновано начало? Не прав ли Новалис: «Под началом разумеют всегда нечто вторичное.» Роберт Грейвз нам сообщает догреческий миф творения (в его лексике «пеласгийский»): из Хаоса появилась обнаженная богиня Эвринома и обнаружила, что ей негде танцевать. Потому отделила она море от неба, захватила северный ветер, сжала в ладонях — перед ее глазами затрепетал змей Офион. Далее подробности творения.

Это грубое приближение, рассказ среди прочих рассказов. Но мы хотим узнать о греческой теогонии, отнестись к богам почтительно и серьезно. Хаос изначально непонятен. Ни в одной книге не прочтешь. Хаос недоступен интерпретации. Какую бы суматоху, какофонию, месиво, разорение мы бы не видели, не слышали, не представляли, всегда мы встречаем донельзя исковерканный порядок. В книге Лосева и Тахо-Годи о богах и героях читаем: «Когда олимпийцы и титаны швыряют друг в друга скалы и горы, жар от Зевсовых молний опалает мир, поднимается вихрь пламени, кипит земля, океан и море. Жар охватывает тартар и хаос, солнце закрыто тучей от камней и скал, которые мечут враги, ревет море, земля дрожит от топота великанов, а их дикие крики доносятся до звездного неба.» Титаномахия. Зевс, новый повелитель мира, устанавливает свой порядок. «Перед нами, — замечают авторы, — космическая катастрофа, картина мучительной гибели мира доолимпийских владык.» Победно, триумфально. И, тем не менее, катастрофа «местного значения». Если, по мысли Шекспира, мы сотворены из субстанции сновидений, и наша маленькая жизнь окружена сном, триумф не так уж и велик. Устройство порядка — устройство нашей собственной реальности. Мы уничтожаем, иногда с шумом, грохотом, неудобством, потерями, мешающие нам существа и вещи, симметрией и старанием улучшаем условия бытия. Старое уходит в сон, в ночь, в хаос. Люди, правда, знают — новое с каждым поколением уходит той же дорогой.

Титаномахия.

И «Теогония» Гесиода и трагедии повествуют о предвечных богах, о так называемых «титанах», с которыми боролись Зевс и «олимпийцы». Титаны — дети бога неба и богини земли, позднее ассоциировались с непокорными и буйными стихиями — миф о Прометее отлично излагает их конфликты с богом богов — Зевсом. Мы не станем повествовать здесь о ситуации этих древних теоморфов, отметим только ее полную непонятность, обусловленную разными взглядами множества авторов и конфликтностью религиозных убеждений. Олимпийские боги тоже далеки от ясности. Зевс, согласно имени его, один из первосущих богов индогерманского пантеона. Имя и функции Аполлона не разгаданы до сих пор. О явлении и торжестве олимпийских владык ни одно предание внятно не сообщает. Известно только, что ко времени возникновения гомеровского эпоса были они бесспорными повелителями вселенной. Повелители, значит устроители. Можно, конечно, повелевать, чтобы разрушать, но разрушение — эпизод преходящий. Уничтожив всё до субстанции пыли, разрушитель сам удивится, увидев, как ветер, дождь и огонь начнут сооружать заново холмы, колонны, конгломераты и, ревнуя, примет участие в создании новых формаций. Повелитель — устроитель. Центр его бытия — порядок или внутренняя эспрессивная организация.

Афродита пришла в Грецию с востока и можно даже проследить ее путь. Одно из ее знаменитых имен, Киприда, указывает на остров Кипр, где находился ее древнейший храм. Когда-то была она вавилонской, финикийской богиней любви и плодородия, и почести, воздаваемые ей израильскими женщинами, ужасали пророка Иеремию.

Но под каким бы видом Афродита не представлялась, она всегда являла грекам новый, «олимпийский» лик.

У греков она более не «королева небес». В отличие от других великих богов и богинь, детей матери-земли Геи и неба Ураноса, она, «услада людей и богов» (Лукреций), родилась из моря от последнего расцвета мужской силы Ураноса.

Однажды, когда могучий Уранос — так рассказывает Гесиод — склонился в любовной страсти над матерью-землей, ревнитель Кронос изувечил отца алмазным серпом. Детородный член Ураноса взорвался в необъятном море — в розовом, перламутровом, радужном кипении пены возникла удивительная девушка и вышла на песок острова Кипр. За ее ногами тянулись медузы и морские звезды, превращаясь в невиданные цветы, Эрос и Химерос, гении любви, сопровождали ее на Олимп. Она украсила жизнь богов и людей «девичьим смехом и перешептываньем, обманами и лукавыми наслаждениями».

В городе Олимпия Фидий создал знаменитый барельеф; богиня вздымается из моря: ее встречает Эрос, Пейто вплетает венок в роскошные волосы — отраду великих богов.

В мифе о рождении Афродиты от Зевса и Дионы морское происхождение богини также не совсем забыто, ибо Диона — дочь Океаноса.

Богиня любви и красоты, «вечная женственность» явилась из морских волн.

Шиллер хорошо понял значение мифа в стихотворении «Греческие Боги»:

Любая земная Венера, сопричастная небу,
Рождается в темной глуби виноцветного моря.

Женственное связано с первоосновой иначе и глубже, нежели мужественное. Согласно другой версии мифа, женственное возникло из «протоводы», «водорода»: женственное родила Гея в начале всего сущего без участия мужского начала. (Гесиод). «Ищите Ортанз

в озаренном водороде», загадочно сказал Рембо. (Гортензия — одно из имен Афродиты.) Мужчина всегда чувствует некоторую чуждость женщины, сколь не называй эту пару

людьми . Прекрасные строки Александра Блока:

Здесь страшная печать отверженности женской,
За прелесть дивную принять ее нет сил.

Итак.

В море возникло всё живое. Любовь — самое лучезарное творение морского виноцветия, божественная улыбка темно-синих глубин.

Афродита — любовь, но любовь иная, нежели Эрос, который наряду с Хаосом — порождающая потенция; позднее теогония назовет его сыном богини. Согласно Платону, он, бедный и страждущий, взыскует Красоты, дабы зачать...

Она — преизбыточное богатство, что пенится золотом,

она — щедрая дарительница — одаривая, ничего не теряет, счастливая возлюбленная, всегда открытая любви.

Хотя напряжение страсти — ее «творение», ее «дар», богиня по сути не любящая, но возлюбленная, не захватывает в плен, но побуждает к наслаждениям. Поэтому империя ее беспредельна — от физической дрожи до преклонения перед вечной Красотой. Всё, что достойно адорации, восторга — будь-то силуэт или жест, речь или поступок, украшено именем «эпафродитос». «Мы просим богиню, — сказал Сократ в „Пире“ Платона, — вложить нам в уста приветные и легкие слова.» Дружеское, мягкое общение объяснялось влиянием Афродиты.

Рожденная в акватической атмосфере, она изначально почиталась богиней моря, однако не в смысле Амфитриды и других океанических божеств. Эманации ее божественного величия, пронизывая природу в целом, одушевляли море. Сказочная тишина океана, счастливый морской вояж возвещают ее присутствие. «К тебе, о богиня, — писал Лукреций, — веет мягкий ветер и приближаются медленные нежные облака; навстречу тебе расцветают луга, ради тебя сверкает зеркало морей и мерцает золотистая небесная даль.» Ее называют «благостной хранительницей гаваней» и почитают вместе с Посейдоном. Остров Родос вызван из морской глубины волей Афродиты и Посейдона.

И не только море. Богиню цветущей природы любят хариты — феи вегетации — купают ее, умащают, одевают в драгоценные ткани. («Одиссея», восьмая песнь; «Илиада», пятая песнь.)

Афродита владеет священными садами. В одном из таких садов в окрестностях Афин воздвигли храм, где скульптор Алкаменос создал знаменитую статую. В «Медее» Эврипида хор поет об Афродите: «Сладкий ветер из Кефиса доносит аромат цветущих роз богини». На острове Цитера (Кипр) богиня посадила первое гранатовое дерево. С тех пор гранат — символ любви, вернее, забытья в любви.

В гомеровом гимне так воспет триумф богини: на пути к прекрасному Анхизу: ее сопровождают яростные волки, злые медведи, блистающие очами львы, бесшумные могучие пантеры. Взгляд Афродиты миглом укрощает хищников — они обнюхивают друг друга, порываются к ласковой игре, потом предаются любви в тенистой роще.

Мужчинам, если они, в отличие от Ипполита, почтительны и покорны ей, приносит богиня счастье — потому, к примеру, назывался удачный бросок игральных костей «милостью Афродиты».

О нежданном счастье так говорит глубокомысленная поэзия Шиллера («Счастье»):

Благословенный, его возлюбили боги еще до рожденья,

Нежные руки Венеры качали его колыбель,

Прежде вхождения в жизнь, полную жизнь получил,

Прежде страданий и тягот — вечную милость Харит,

Но женщинам несет Афродита жребий зачастую жестокий, вырывая из спокойной и скромной жизни и бросая в объятия красивых чужеземцев. Так Медее стала жертвой любви к Язону и свершила ужасающие преступления. В «Медее» Эврипида заклинает хор женщин: «О повелительница, не посылай нам от золотой тетивы стрел бешеных желаний, оставь нам в

удел скромность и покой — прекраснейшие дары богов».

Другой знаменитый пример — сумасшедшая любовь Федры к своему пасынку, которого она затравила в смерть. Эврипид писал в «Ипполите»: «Околдованный Кипридой человек бессилен. Божественная милость тому, кто склоняется пред ее властью, беспощадная месть непокорному».

Богиня любви, подобно Дионису, разрывает сердце человеческое неотвратимым безумием, но это отнюдь не единственная ее прихоть. Богиня любви сообщает делам человеческим красоту и совершенство. Она — космическая власть влечения, соединяющая разъединенное, разорванное, распыленное. Будучи совершенством красоты, она умеет любое уродство превращать в красоту, либо меняет наши представления об уродстве.

«Всевышней волею Зевеса» ее выдали замуж за колченого Гефеста, обожженного огнем, пропахшего дымом, великого искусника. Гефест приревновал ее к Аресу — красивому, неистовому, вечно пьяному. Гефест набросил на них, пребывающих в любовном экстазе, изумительную золотую сеть — мягче шелка и ослепительней солнца. Боги не знали — возмущаться ли «адюльтером» или любоваться великим произведением.

Как и следовало ожидать, детей у Афродиты было предостаточно, что несколько не смущало богиню — после купания в море к ней возвращались девственность, свежесть и юность. Двое детей особенно примечательны. От Диониса она родила Приапа — уродливого мальчика с огромными гениталиями, который стал богом садов и дождей. Римляне особенно его почитали. Правда, Приап обожал сады, не обращая внимания на периферийную вегетацию: его сады ярко цвели зимой и летом, хотя кругом высыхали луга или спали покрытые снегом зерновые поля.

Другой своеобразный сын по имени Гермафродит отличался множеством оригинальных дарований. Ребенком ему удалось пропустить паутинку сквозь уши своего отца Гермеса. Вообще он одинаково владел мужскими и женскими ремеслами. Один глаз у него смотрел в страну сновидений, другой — в землю реальности. Он часто путал эти сферы: то пропадал из поля зрения, сидя на петухе, то влетал в город на огнедышащем драконе.

Банальным людям невозможно разглядеть Афродиту: она то ныряет в серебряной раковине в глубины моря к своей подруге Амфитриде, то расплывается невидимым созвездием в ясных небесах. Только провидцам и поэтам, наученным Зевсом или Аполлоном, удастся разглядеть богиню в виде тонкой окружности, окаймляющей черный круг. Таким людям необходимо иметь по два зрачка в каждом глазу: независимо от того, слепые они или зрячие, им дано различить абрис Афродиты. Центр одного из эллипсов позволяет рассмотреть одну из Афродит в полном одиночестве и в полном блеске. Это одна из редких богинь (Афродита Урания), не имеющая к Хаосу прямого отношения. Даже когда она гуляет в темных рощах Персефоны, то совпадает с черными скалами Аида, но светится на фоне призрачных деревьев. Вообще жизнь богини разнопланова и загадочна. Невидимая, она, любит спать в Хаосе черной бабочкой на черном одуванчике или вороном облетать самые зловещие его бездны. Не лишена коварного юмора. Прикинувшись безобразной старухой, любит навязывать свою страсть какому-либо юноше и, не покидая несчастного до самой смерти, зверски терзает его «нежностью» и «лаской», только в момент его гибели являясь истинной Афродитой.

Так что эта богиня отнюдь не символ красоты и гармонии. Злая, беспощадная, мстительная, она любит покрывать зримое пространство тучей певчих птиц — горе существу — живому или неживому, которое попадает в этот гвалт. Клювами и когтями разрываются камни, звери, звезды, склеиваются в немыслимые, безобразные, хищные конгломераты, в сферу влияния

которых лучше не попадать.

Много ужасов можно поведать о темном царстве Афродиты...

Гейша — пылающая хризантема

Знаменитый в Европе японский философ Судзуки в «Очерках по дзен-буддизму» определил гейшу как «существо, постигающее поэтическое совершенство тела». Это прекрасное выражение позволяет очистить высокое понятие от разного рода глупостей и двусмысленностей. Попробуем увлечься интеллектуальным японским драйвом. Судзуки, упомянув о невозможности адекватного перевода слова «гейша» на европейские языки, предлагает следующее приближение: «гейша — владелица фонтана в саду».

Великий поэт Башё (17 век) написал о гейше:

Четыре цветка в саду:

Роза, Две гортензии,

красная хризантема

Другой поэт, Иссу, добавил:

Любит утолять жажду из лужи,

Никогда не видит

Фонтана в доме своём.

Поставим себе скромную задачу, попробуем поразмыслить над этими стихотворениями.

Японцы отличаются церемонной вежливостью и стараются её сохранить даже в сумасшедшем темпе современной жизни. Зачастую прощание гостя с хозяином длится дольше, нежели самый визит. Если издатель не хочет публиковать какую-либо книгу, он скажет автору приблизительно так: «Глупая типография недостойна вашего шедевра. Мы поищем достойного каллиграфа в Японии, а если понадобится, пошлём курьера в Китай». Если нетерпеливый клиент срывает одежду с гейши, она поднимет брови: «Вы застенчивы, как вулкан, скованный снегом и льдом», оставляя клиента озадаченно чесать затылок.

Эта одиозная вежливость присутствует в Японии далеко не всегда и не везде. Японцы в основном буддисты и выбирают одно из трёх направлений пути: «дзёдо», «дзэн» или «нитирэн». Сейчас, в тёмный, тяжкий, вещественный период «инь» предпочтителен резкий «дзен» или «работа с материей». «Нитирэн» незаменим в общественных и политических контактах. Но для каллиграфии, фехтования, медитации, любви характерен «дзёдо».

Церемонная вежливость входит в мировоззрение дзёдо, весьма и весьма нам чуждое. Здесь

совершенно отсутствует понятие цели и достижения цели, здесь не размышляют, оправдывает ли цель средства или нет. Соответственно нет понятия о линейном, общем для всех, в пользу или впустую потраченном времени. Приглашение к чаю, сакэ или к созерцанию хризантемы чётко определяет «единственное во вселенной» время, где чай, сакэ, хризантема держат посетителей столько, сколько им (этим объектам) необходимо. Допустим: мастер чайного процесса спотыкается, падает, роняет чашку. Приглашённых — трое. Самый сведущий из них обязан в принципе исключить подобный казус; другой, менее опытный, обязан сохранить полную невозмутимость и продолжать беседу, хотя бы мастер и чашка свалились прямо на него; третий, ученик, должен поддержать мастера и поймать чашку возможно спокойней и незаметней. Это вполне напоминает учёбу юной гейши. «Мастер бамбуковой трости», объясняя девице сексуальное воздействие той или иной пастилы или язык цветов, внезапно падает на неё, успевает раздеть и артистично с ней соединяется, вернее, изображает такую сцену. Задачи будущей гейши по степени сложности: изящно увернуться и поймать отброшенную трость; увернуться, поймать трость, взять протянутый подругой букет; пойманной тростью точно нажать одну из «солнечных точек» на теле мастера, дабы вызвать мгновенную эякуляцию.

Обучают в школах гейш по методике дзёдо, учитывая женскую специфику, которая называется «фу дзу». Девочка должна достигнуть уровня «пылающей хризантемы», полагает Чжу Си в «Трактате о пылающих хризантемах» (1804). Здесь трудная для нас деталь: такие выражения, как «задача», «долг», «достижение уровня» ни в коем случае нельзя понимать однозначно. Юноша или девушка, поступая в школу дзен или дзёдо, уже достигли всего необходимого, речь идёт лишь об уточнении и распределении знания. Как писал Чжу Си, «много ростков способно дать единое зёрнышко: учение не приобретает, а выбирает». Нам, целеустремлённым, страдающим в случае бесцельной и бессмысленной жизни, представить подобное очень непросто. В ситуации дзёдо моменты любого занятия качественно и динамически равноценны, а цель занятия, «то, ради чего», растворяется в процессе. Инициатор какого-либо дела способен получить совершенно неожиданный результат. «Думаю над вазой, создаю вазу, — говорит философ Тайсю, — а передо мной будет букет для вазы». Неподвижность порождает круговую активность — приблизительно так можно интерпретировать Тайсю — мраморное изваяние Будды пребывает в центре движения, минерал — его спокойный ученик, растение корнями берёт воду и огонь минерала.

Чжу Си в своём трактате о гейшах высказывает сходные соображения. Для него, почитателя икенобо (искусства цветочного дизайна), растение — принцип и образец женского развития: «Извлеки корнями воду из собственной земли и распусти её по венам и артериям».

В анонимном сборнике «Надписи на волнах озера Фай» восхваляется человек «недвижного пути» и уподобляется растению, что даёт много бутонов. Рассказывается там следующая притча. Однажды мастер чайной церемонии ненароком обидел самурая и был вызван на поединок. Вечером навестил его мастер фехтования. Мрачный хозяин попросил показать, как держать саблю, дабы совсем не опозориться. Гость, наблюдая процесс приготовления чая, сказал: тебя учить нечему. Вспомни четыре правила дзёдо и спокойно выходи на поединок. Наутро поглядел самурай на боевую стойку противника, поклонился и от поединка отказался.

Мораль сей притчи: кто в совершенстве владеет одним искусством, потенциально владеет всяким другим. (Это очень напоминает максима Николая Кузанского: кто в совершенстве знает одну вещь, знает все остальные.) Сложность в том, чтобы среди бесчисленных ремёсел выбрать соответствующее жизненному ритму и эстетической диспозиции. И ещё одно: занятие должно числиться в «списке вечных дел», освящённых традицией. Нельзя, к примеру, с самого начала постигать электронику или вождение автомобиля.

Это полностью относится к девушке, которая хочет стать гейшей, то есть избрать «фу дзу», путь женского развития. Здесь надо заметить следующее: бытует мнение, будто гейшу — танцовщицу и специалистку в эротике — воспитывают чуть не с колыбели. Подобная

практика действительно имеет место, но так готовят не гейш, а квалифицированных проституток. Разница приблизительно такая, как между гетерой и простой миньонной.

Гейшу воспитывают по религиозно-философской системе, а потому в школу поступают весьма взрослые девушки, уже чувствующие определённое призвание. Мастер (в школе преподают только мужчины), прежде всего оценивает правильность и подлинность выбора, затем предлагает ученице продолжать любимое дело. Стремление к совершенству категорически отклоняется. Девушка, скажем, обожает вышивать. Но если она, боже упаси, к своим цветочкам и кренделёчкам добавит лишний лепесточек и завиточек, её предупреждают: ещё одно украшение и школу она может более не беспокоить. (Информация взята из вышеупомянутого «Трактата о пылающих хризантемах»). Такое занудство или, точнее, «отсутствие лунного просвета в крепкой крыше» продолжается довольно долго. Затем ученицу просят сменить произвольную вышивку на тематическую. Из дня в день вышивает она «игру бамбуковой трости и абрикоса». Вдруг мастер неведомо почему выбрасывает вышивальные принадлежности и наступает «время розовеющих губ». Ученица часами сидит у зеркала и фиксированным взглядом пытается интенсифицировать розовость губ. Её удачи и неудачи никого не интересуют, ибо главное процесс, а не цель. В книге Чжу Си перечислены десятки подобных упражнений, одно другого монотонней. Потом мастер объявляет о прекращении уроков, но это вовсе не каникулы. В школу надо по-прежнему приходить и слоняться без дела. Этот период называется «хаосом цветов». Обращаются с девушкой очень мягко и советуют, если уж ей особенно скучно, сосредоточиться на изречениях, наклеенных на стене: гортензия это хризантема; роза это хризантема, гортензия это роза.

Здесь надобно припомнить приведённое в начале текста стихотворение Башё. Чжу Си предлагает «сто интерпретаций». Одна из самых простых: в саду женского тела красная хризантема — губы; две гортензии — груди; роза — сокровенное место «великого расцвета». Трудность такова: это не просто метафоры и символы, но и соответствующие данным женским прелестям растения — необходимо познать обоюдную магическую симпатию. Изречения на стене означают: могущество цветов безпредельно, они блуждают ночью по саду и меняют свои роли. Проще говоря, женщина должна эротизировать всё тело, дабы не ограничиваться обычными средоточиями сексуальной магнетики.

Период «хаоса цветов», то есть полного безделья, продолжается неопределённо долго. Предоставленная себе ученица бродит по школе, наблюдает за уроками каллиграфии, декламации, танцевальных движений, однако её просят не задерживаться и размышлять о жизни вообще. Наконец она совершает предосудительный поступок: обращается к мастеру, что запрещено. Мастер приказывает ей раздеться догола и гоняет бамбуковой тростью по всей школе. Затем ученица, зарёванная и в синяках, ложится спать и размышляет о жестокости судьбы. Её пробуждает грубый толчок — перед ней обнажённый юноша в состоянии напряжённой мужественности. Он ложится рядом и начинает беседу об агрикультуре. На его спине, груди и ногах она замечает крохотные, нарисованные красной тушью, иероглифы. Это средоточия эротического возбуждения. При умелом нажатии можно добиться мгновенной эякуляции или длительной импотенции. Эта техника называется «лунный просвет сквозь дырявую крышу».

Нелегко подробно описать занятия в школе гейш. Диапазон широк — от изучения трактатов учителей дзёдо в частности и буддизма вообще до экзерсисов крайне постыдных с точки зрения европейской морали. Исследование мужской эротики, овладение сексуальным мастерством должно привести ученицу к следующей мысли (верной или неверной, безразлично): мужчина — существо опасное и примитивное, необходимое только для постепенного раскрытия секретов собственного тела. «Вода со стороны», «луна» суть мужская влага, от которой «саду» грозит гибель.

Когда эта мысль войдёт в плоть и кровь, начинается освоение «фу дзу» (уступка, уклонение,

постоянное уклонение). Курс фу дзу включает, среди разного прочего, уроки специфического «единоборства», основанного на исключительном, но внешне рассеянном внимании. Чжу Си полагает: в отличие от мужской агрессивной активности, направленной на уничтожение и переделку среды обитания, активность женщины растворяется в «небесном расцвете бутонов». «Молоко» или «сок» женского «фонтана» вздымается словно в стебле цветка. Укоренённый в «собственной земле» цветок сопротивляется даже самым сильным порывам ветра. Женский вариант «недвижного пути», парадигма поведения. Женщина никогда не должна изменять своей природе и отвечать ударом на удар. Если она владеет «совершенным уклонением», любые удары пройдут мимо, обессиливая противника и умножая энергию «нежной властительницы». «При нападении змеи я точно повторяю изгиб змеи». Освоению фу дзу поможет опыт «третьей медитации», которой учат комментарии к тексту Башё «Тесная тропа на глубокий север». Тесная тропа — ложбинка меж грудей, источник фонтана. Чтобы источник ожил, необходимо жестко фиксировать внимание на указанном месте, повторяя соответствующие мантры. Если такое случится, губы окрасятся багряным огнём: уровень «пылающей хризантемы» достигнут.

Кроме важного экзистенциального прорыва, гейша обретает второстепенные возможности — «рябь на воде». К примеру, она способна по желанию увеличивать и уменьшать округлости своих прелестей или, зажав пинг-понговый шарик вагинальными мышцами, «выстрелить» и попасть в бокал на расстоянии двух, трёх метров... Подобная сексуальная эквилибристика не осуждается и не поощряется.

Это лишь несколько оттенков пылающей хризантемы. * * *

Школы, основанные на дзёдо, свойственны аристократическому классу прежней Японии. В нынешний демократический век требовательность значительно понизилась, воспитание девиц стало куда менее глубоким, зато более широким. Тем не менее, традиционные принципы так или иначе присутствуют. Современную атмосферу хорошо отразил известный американский специалист по японской культуре Кеннет Уильямс в работе «Фу дзу и японское искусство воспитания» (Williams, Kenneth, Fu-dzu and japan art of education, 1979). В специальные школы принимают девочек восьми-десяти лет, преподаватели — как мужчины, так и женщины. Фу дзу нечто вроде «факультатива» для юных особей, проявляющих к этому делу особые склонности. Из обширной системы фу дзу учитывается, главным образом, эротическое воспитание, искусство вести беседу и самооборона.

Преподавание основано на гипотезе противоположной ориентации полов. Мужчина экспансивен и разбрасывается от центра к периферии, женщине свойственна сдержанность и концентрация. Она легко усваивает опыт медитации, внимания, терпеливых повторов.

Девочек «отсеивают» разнообразными проверками. Например, пускают резвую курицу в огороженный полигон и предлагают поймать. Если девочка начинает суматошно гоняться и злиться на неудачу, её не принимают. Аналогичны испытания с кольцом и палкой, бабочкой и сачком. Смысл подобных проверок: девочки подавляют мальчишеские склонности — настойчивость, целеустремлённость, раздражение от неудач и самое ужасное — тенденцию к превосходству над другими.

Внимание педагогов привлекают ученицы, которые, во-первых, отказываются под любым, желательно остроумным предлогом, от такого рода испытаний, во-вторых просят объяснить, как делать правильно. Опыт с курицей: учительница встаёт в центр полигона и рассыпает немного зерна. Другое, более сложное действие: учительница, почти не перемещаясь медленно и гибко танцует рассыпая воображаемое зерно. Если курица, вопреки ожиданиям, не реагирует, учительница спокойно уходит.

На уроке гимнастики девочке предлагают раздеться догола, встать «на мостик», выдержать щекотку доколе возможно, затем водят по телу чистой акварельной кисточкой и после перед

зеркалом, спрашивают, какой рисунок различается. Лучше всего, опять же, отказаться с самого начала, но очень неплохо, не выказав удивления, выразительно рассказать о «рисунке». Всё это проходит на фоне занятия постоянного, если его можно назвать таковым, на фоне танца. Девочку стараются отучить от походки целенаправленной, от прямой линии — кратчайшего расстояния между двумя пунктами. Она поднимается с постели извивно и медленно — всякая спешка наказуема — и старается весь день, исключая требующих быстроты упражнений, двигаться плавно и гармонично по принципу: воздух это вода.

Что хотят достигнуть такого рода обучением? Проникновения в сущность женского бытия согласно фу дзу.

Необходимо подробней разобрать постулаты этого «женского» фу дзу или, точнее, фу дзу инь. Нам поможет цитата из книги Мирамотсу (20 в.) «Восход солнца над Киото»: «С точки зрения человека пробуждённого, физическая агрессия, эротическая ласка, вопросы, обращённые к вашему знанию или вашей жизни — это разные виды насилия. Внешний мир хочет так или иначе подчинить вас, овладеть вами, ассимилировать вас. Будьте осторожны, не верьте „самоочевидным истинам“, не поддавайтесь очарованию самых сладких пирожных, самых нежных милостей, помните: страшные яды любят таять во рту. Учитесь свободному вниманию, никогда не отвечайте ударом на удар, не собирайте знания для конкретного ответа на конкретный вопрос. У мастера Йен-лу однажды спросили: „В чём высший смысл истины?“ Он ответил: „Открытая даль неистинна“».

Ушёл ли от ответа мастер Йен-лу? И да, и нет. Бесспорно одно: он поставил вопрошающего в положение сложное и прямого контакта избежал. Разумеется, многое здесь так и просится под скальпель психоанализа. Разве это не попытка удрать от жизненных трудностей, разве это не эскапизм? Наученная Фрейдом, современная деловая особа растит в себе комплекс высшей полноценности, дабы доказать мужчине, что умеет она преуспевать не хуже, а гораздо лучше. Застенчивость, стыдливость, целомудрие, какой бред! В жизненных битвах нужна хорошая амуниция и диспозиция. Успешная боевая единица должна изучить мужскую логику и мужские боевые искусства, для чёткой рекогносцировки нужен ястребиный глаз: вот бизнес, вот секс, вот спорт, вот семья, над всем этим — необъятное, манящее небо денег.

Да, японская система воспитания здесь ни к чему. Япония. Разве там мало американизированных коллективов, разве все эти самураи, гейши, борцы сумо, театр кабуки и прочее не используется для рекламы? И тем не менее, существует Япония, которая старается хранить верность традиции. Поэтому нелепо сравнивать гейшу с прогрессивной либертичкой или, боже упаси, с проституткой.

Вернёмся к нашей теме. «Женщина зреет, словно жемчужина в раковине своего тела», — сказала Наритсу, высокообразованная средневековая японка. Это означает: экспансия женской личности имеет жёсткий предел, иначе эта личность не будет гармонической. Эволюция раковины медлительна и спиральна. Гибкое круговое движение соединяет растерзанную на куски жизнь в единое целое. Открытое — открыто, закрытое — закрыто и не надо копать в поисках тайных причин. Поэтому в японской традиции, равно как во всякой другой, не существует анатомии человеческого тела. За нормальные физические кондиции отвечают кожа, волосы, ногти. Уход за поверхностью, знание поверхности объединяют мысль и чувство в тонкое сферическое внимание, когда совсем необязательно иметь глаза на затылке. Это называется «атмосфера дзакка».

Мы могли видеть ситуацию «дзакка» в знаменитом фильме «Семь самураев». Шеф, собирая команду, устраивает каждому новичку испытание: комната для приглашённых открыта, но за дверь прячется молодой человек, готовый угостить входящего палкой. Один новичок падает, оглушённый, другой ловко уклоняется, третий останавливается перед порогом и говорит, что смешно подвергать опытного война дурацким проверкам. Он ведать не ведает о

сюрпризе, но его «дзакка» уже всё знает. В одном рассказе об упомянутой Наритсу — весьма аналогичный случай. Эта высокопоставленная дама занималась причёской, сидя перед зеркалом, и вдруг почувствовала несомненную опасность. В саду, в доме, в комнате — полнейший покой, за спиной — верная служанка. Наритсу прямо-таки извелась, повсюду искала, наводила справки — бесполезно. Вечером служанка сжалась и сообщила: когда стояла она за спиной госпожи, мелькнула шальная мысль вонзить булавку в её белоснежную шею.

Даже современная школа гейш проводит длительные, утомительные занятия, чтобы пробудить у девушек «атмосферу дзакки». Это совершенно необходимое условие изучения фу дзу по версии самообороны. Девушка заранее «знает» о предполагаемом нападении хулиганов и насильников. После изучения технических навыков искусства поразительной гибкости и быстроты уходов, вращений, уклонений, начинается постепенное освоение «фу до» — «впитывания» агрессивной энергии противника. Здесь акцентируется методика эротической жизни. Гейша должна уметь не только вызывать нажатием пальца мгновенную эякуляцию, но и задерживать оную сколь угодно долго техникой «шёпота и щекотки». Когда мужское возбуждение доходит до пароксизма, гейша «высасывает» партнёра, который впадает в полное забытьё. Мужчине пожилому или с больным сердцем это грозит смертью.

Однако нормальной гейше чуждо разрушение и зло, поскольку она великая мастерица сексуальной терапии. Для неё не существует импотенции, она способна очень успешно лечить многие заболевания. Но это другая история.